

Школьная библиотека



Эдгар Аллан По

Қолодец и маятник

FOLIO

Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы

Эдгар Аллан По

Колодец и маятник. Рассказы

«Фолио»

1842

ББК 84(7США)

По Э.

Колодец и маятник. Рассказы / Э. По — «Фолио»,
1842 — (Школьная библиотека украинской и зарубежной
литературы)

ISBN 978-966-03-5461-6

В эту книгу включены разнообразные по жанру, контрастные по сюжету новеллы американского поэта и прозаика Эдгара Аллана По (1809–1849) – мистические, иронично-юмористические, психологические, детективные, фантастические и приключенческие, в которых героев подстерегают опасности («Низвержение в Мальстрем»), совершаются и раскрываются дедуктивным методом ужасные преступления («Убийства на улице Морг»), господствует страх («Колодец и маятник»), происходят встречи с потусторонним («Морэлла»), описывается полет Ганса Пфааля на Луну. Автор и сегодня заставляет поверить читателя в необъяснимое, и кажется, что эти невероятные события могли происходить на самом деле.

ББК 84(7США)

ISBN 978-966-03-5461-6

© По Э., 1842

© Фолио, 1842

Содержание

Наброски к портрету	6
Метценгерштейн	23
Береника	28
Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля	32
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Эдгар Аллан По

Колодец и маятник: рассказы

Серия «Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы» основана в 2010 году



Перевод с английского

Предисловие и примечания
Кирьы Шаховой

Художник-оформитель
О. А. Гугалова

План-проспект серии утвержден Министерством образования и науки Украины

Наброски к портрету

Эдгар Аллан По написал относительно немного. Все созданное им в области поэзии и прозы можно объединить в двух томах: in quarto – стихи, in folio – рассказы. Но под обложками этих книг на удивление много шедевров мирового уровня. Время уже отобрало лучшее из наследия писателя, и мы до сих пор удивляемся величию и необычности таланта По. Произведения «Ворон», «Аннабель Ли», «Улялюм», «Эльдорадо», «Падение дома Ашероу», «Маска Красной Смерти», «Черный кот», «Золотой жук» живут в памяти поколений читателей, как ослепительная образная и чувственная вспышка. Музыка и краски этих произведений, как все необычное, новаторское, дерзкое, запечатлеваются в сознании навсегда. Однако время сглаживает необычность, новаторство тиражируется и становится нормой, дерзкое в искусстве прошлого уже никого не раздражает. Тем удивительнее, что творчество американского художника и в наши дни, более чем полтора века после его смерти, привлекает свежестью и силой, очаровывает художественной неповторимостью, глубокой оригинальностью.

Эта оригинальность заметна и на фоне мирового романтизма, в частности американского. Эдгар По – романтик в полном, даже абсолютном смысле этого слова. Все его творчество насквозь романтично. Не менее романтичны и все взлеты и падения его человеческой судьбы от самой колыбели до могилы. Его литературный портрет, созданный далекими от объективности современниками, типичен для романтика. Особенно знаменательно, что и воображаемый автопортрет, написанный его пером, тоже романтический. Характерно, что в обоих вымышленное заступает настоящее, фантазия торжествует над реальностью, карикатура или идеализация заменяет истинный образ.

Все это только подтверждает тот неоспоримый факт, что американский классик жил и писал по законам романтизма. Одним из этих законов еще со времен немецких романтиков – Новалиса, братьев Шлегелей или Тика, – то есть с 90-х годов XVIII века, было создание собственной личности по определенному канону. Они теоретически обосновали необходимость воспитания своих чувств, собственноручного плетения жизненной канвы и шитья узоров на ней по очерченному образцу.

В своем очерке о поэзии Эдгара По российский американист А. Зверев пишет: «Это было характерное свойство романтического сознания, выражение тоски по идеалу, которая вызвала к жизни самый романтизм. Сложился особый тип поведения, возникал тщательно продуманный образ скептика, бунтовщика, извечного бродяги, полного пренебрежения к окружающей нищете, измученного разочарованием, неверием и неудовлетворенного жадой действия, которое призвано заменить весь существующий порядок вещей». С Эдгаром По случилось так, что созданный им образ романтического поэта превратился в своеобразную маску и маска приросла к его лицу, миф автора «Лигейи» для многих стал более убедительным и живым, чем сама реальность его характера и жизни.

Каким было лицо писателя – этого «зеркала души»? К счастью, сохранилось несколько портретов По, автопортрет и очень выразительный дагерротип (1849 г.), который чаще всего репродуцируют в изданиях его произведений. Первое, что бросается в глаза, очень высокий широкий лоб, светлый лоб мыслителя, окруженный легкими волнистыми русыми волосами. В ясных больших глазах внимание, усталость и грусть. Красивые прямые, длинные брови. Большой нос отнюдь не классической формы и небольшие, тонкие, крепко сжатые, скорбные уста. Это лицо незаурядного и несчастливой человека. На нем проступают воля и малодушие, упрямство и капризность.

А вот как характеризует писателя благосклонная к нему близкая знакомая писательница Фрэнсис Огуд: «Я всегда считала его образцом изящества, благородства и великодушия... Его красивая надменная голова, темные глаза, которые источали сияние избранности, сияние

чувства и мысли, его манеры – все это было сочетанием невероятного величия и нежности... Особенно величественной казалась мне простая и поэтическая душа Эдгара По. Он был веселым, искренним, остроумным; то сдержанным, то капризным, как избалованный ребенок, но даже во время тяжелого литературного труда он находил ласковое слово, добрую улыбку для мягкой, молодой и обожаемой жены и ко всем гостям относился внимательно и любезно. Бесконечные часы проводил он за столом... всегда старательный, терпеливый, записывая своим прекрасным письмом замечательные фантазии, которые непрерывно порождал его блестящий и острый ум».

Но есть и совсем другие характеристики, которые рисуют неприглядную, а иногда отталкивающую фигуру. Наделяя По чертами в лучшем случае демона, а в худшем – просто негодяя, люди, которые по тем или иным причинам не любили писателя, шли навстречу пожеланиям публики. Известно же, что и в наше время массовый потребитель культуры обожает творить кумиров и сбрасывать их с пьедесталов, захлебывается от радости, сплетничая об известных художниках. Во времена По именно писатели, их личность, их частная жизнь привлекали внимание, выполняли в обществе ту роль, которую теперь играют звезды кино и эстрады.

При жизни американского мастера необычность его натуры и определенная эксцентричность поведения вызывали у многих современников одновременно и отрицание, и нездоровый интерес. После его смерти над созданием ложного образа писателя старательно поработал первый биограф По, его недоброжелательный исполнитель завещания Руфус Грисуолд. Как оказалось впоследствии, для своего «мемуара», следовательно, для литературного портрета По этот литератор просто «одолжил» черты персонажа из романа «Кэкстона» англичанина Бульвера-Литтона, переписав характеристику бульверовского романтического злодея Фрэнсиса Вивьена. И читатели поверили злой выдумке Грисуолда, потому что стремились видеть именно такую типичную литературно-романтическую личность.

Эдгар По был художником новейшей эпохи, то есть, как почти каждый литератор буржуазного мира, зарабатывал на существование собственным пером, чего не знали большинство его предшественников еще в конце XVIII века. Его безжалостно эксплуатировали издатели, часто он сидел без гроша в кармане, из-за материальных затруднений отчаивался. Его ежедневным трудом было не только высокое творчество, но и журналистские, редакторские подработки.

Писатель родился и почти безвыездно прожил всю жизнь в Соединенных Штатах – молодой стране, где тон задавала победная буржуазия новой формации, полная рвения, силы, стремительности. Экономика страны семимильными шагами двигалась путем научно-технического прогресса. США гордились республиканским образом правления, демократическими институтами, а также молодостью и перспективами на будущее. Однако и при демократическом строе возникали острые социальные, национальные и культурные проблемы, привлекавшие к себе внимание как внутри страны, так и за ее пределами (вспомним хотя бы то, что писал об Америке после своего путешествия за океан Чарлз Диккенс).

Будучи сыном своего времени и своей страны, а кроме того, уязвимым художником, Эдгар По и в личной жизни, и в творчестве в определенной степени отражал то, что его окружало, порой остро и преувеличено. Оригинальность его творчества и личности многим европейцам казалась несовместимой с господствующим представлением о нормированности, пуританстве, обывательской бесцветности американского общества, его рационализме и прагматизме, бездуховности, враждебности всему интеллектуальному. Отсюда пошло не раз повторенное утверждение о чуждости По духу Соединенных Штатов. Лаконично это выразил Бернард Шоу: «Как мог появиться в Америке этот изящный художник, настоящий аристократ литературы?» В этом высказывании только доля правды. Когда за пределами Соединенных Штатов стали больше известны произведения писателей и мыслителей эпохи По, их сложные духовные искания, когда раскрылся весь массив американского романтизма как своеобраз-

ного и красочного явления, автор «Падения дома Ашеров» или «Маски Красной Смерти», «Ворона» или «Колоколов» уже не казался странным исключением, а, наоборот, хорошо вписывался в общую картину литературного процесса США тридцатых-сороковых годов XIX столетия и становился рядом с такими выдающимися художниками, как Мелвилл или Торо, Эмерсон или Дикинсон, был самым значительным из них.

Действие многих произведений По происходит или в Европе, или в условной экзотической стране. Героям присущи общечеловеческие, а не конкретно-исторические или национальные черты. Писатель иногда даже может показаться внациональным, особенно в сравнении с таким чисто американским писателем, как автор «Приключений Тома Сойера» и «Приключений Гекльберри Финна». Правда, стертость национальных черт, космополитическая универсальность вообще присущи некоторым романтическим произведениям (не менее, кстати, чем ярко выраженный национальный характер – другим). И даже не воссоздав в реалистических образах национальную жизнь американцев, По – очень американский художник. Как продолжатель прозаической традиции своего старшего современника Вашингтона Ирвинга и оппонент поэтов-трансценденталистов, предтеча Уитмена, Марка Твена, Брет-Гарта и пр., как художник, он откликался на потребности американских читателей, писал о том, что интересовало и волновало именно его соотечественников, и, наконец, как автор сатир на американскую предприимчивость, безоговорочный оптимизм и хвастовство, на прессу и литературу США, По был, бесспорно, национальным художником. Характерные особенности жизни родины отразились в интеллектуальном своеобразии многих его рассказов, в культе радио, в научно-фантастической тематике, особом интересе к техническим изобретениям, воспеании ученого, путника, пионера новых земель.

Федор Михайлович Достоевский, современник По, один из его внимательных читателей в России, прозорливо отметил именно «американскость» этого художника. Он писал: «В По если и есть фантастичность, то какая-то материальная, если только можно так сказать. Видно, что он вполне американец даже в самых фантастических своих произведениях».

В стиле многих рассказов По прослеживается молодая американская юмористическая традиция и фольклор, конечно, с глубокой их трансформацией. Наконец, даже ориентация на Европу, на культурные традиции Старого Света (прежде всего Англии) – как ни парадоксально, казалось бы, звучит такое утверждение, также исторически обусловленная американская традиция, которая тянется до первых десятилетий XX века.

Надо добавить, что именно Эдгар По стал первым поэтом и прозаиком США, который приобрел мировую славу и, главное, оказал значительное и длительное воздействие на многочисленных художников в разных странах. Конечно, его соотечественник и современник Фенимор Купер рассказал в своих когда-то очень популярных романах читателям Европы гораздо больше о природе Северной Америки, ее истории, кровавой борьбе аборигенов – индейцев – и белых пришельцев. Но его проза лишена той художественной и интеллектуальной силы, которая присуща произведениям По. Романы Купера с течением времени изменили свои жанровые признаки, стали восприниматься как приключенческо-развлекательная беллетристика, книги для детей и юношества. Как поэт По еще долгое время не имел на континенте равного себе и остался в сознании читателей за пределами Соединенных Штатов крупнейшим американским лириком XIX века.

Именно лирический герой стихов талантливого американца, а также рассказчик в его многочисленных новеллах стали источником величайших недоразумений, связанных с личностью автора. Черты этих литературных персонажей без каких-либо оговорок переносили на автора, добавляя и все необычное и грозное, что находили в фигурах героев его рассказов. По считали не просто восторженным, но и сумасшедшим, рассказывали о его алкоголизме, склонности к наркотикам, грубости в отношениях с близкими людьми, цинизме, скандальности и т. д. Грисуолд утверждал, что По – развратник, безбожник, наглец, желчный человеко-

ненавистник, который обожал только себя самого. Всю эту грязь лили так долго, что жизнь По стала походить на отвратительный миф.

Сам писатель, как уже упоминалось, тоже виноват в том, что его образ приобрел мифические черты. В небольших автобиографических заметках, так называемом «Меморандуме», он придумал отдельные подробности своей биографии, например дедов – адмирала и генерала – или путешествие в Россию, которого, как теперь окончательно доказано, он никогда не совершал. (Кстати, над исследованием этого вопроса работали наши отечественные литературоведы: очень уж хотелось иметь убедительные свидетельства о пребывании По в Петербурге.) Как почти каждый лирик, он часто влюблялся (без этого не было бы лучших жемчужин мировой поэзии вообще). Но эти иногда короткие и невинные всплески нежных чувств, которые дают поэту столь необходимое творческое вдохновение, зафиксированы во многих стихотворениях По, посвященных женщинам или названных вымышленными поэтическими женскими именами, обеспечили ему дурную славу соблазнителя несчастных женщин. Поэт женился на своей юной двоюродной сестре, которую обожал, и это дало повод обвинять его в кровосмешении.

Эдгар По обладал нервным характером; непокорный и непоседливый, враг всего банального и низменного, он часто менял квартиры и работу, расходился с приятелями, высказывал категорические язвительные утверждения в своих литературно-критических выступлениях, руководствуясь очень высокими, иногда субъективными критериями в оценке произведений коллег-писателей. Он часто конфликтовал с издателями, не принимал притворства и фарисейства «нормированной» жизни состоятельных обывателей, не покорялся пуританским принципам своих сограждан. Он хотел быть свободным человеком в обществе рабов морали, религиозных, сословных и расовых предрассудков. Это затрудняло его жизнь, придавало переживаний, приводило к нервным срывам и депрессиям.

На рассвете этой жизни добрые феи не одарили Эдгара ни покоем или уютом, ни родительской любовью. Мать и отец По были странствующими актерами, их сын родился в Бостоне 19 января 1809 года. Эдгару не исполнилось и двух лет, когда он потерял обоих, сначала отца, а потом мать. Мальчика взяла на воспитание богатая семья ричмондского купца Джона Аллана (отсюда вторая фамилия писателя). В этой семье он прожил восемнадцать лет. Супруги дали Эдгару хорошее образование. Несколько лет он жил в Англии, где учился в закрытых пансионах. Атмосферу своих первых школьных лет он воспроизвел в рассказе «Вильям Вильсон». Конечно, не все учителя были одаренными педагогами, не все предметы захватывали юного школьника, но прочный культурный фундамент По был заложен уже в древних стенах этих школ. По возвращении Аллана в Соединенные Штаты Эдгар учился в школах Ричмонда, а затем короткое время в Виргинском университете. В итоге он получил серьезное филологическое образование, знал классические языки, свободно владел французским, читал и писал на немецком, итальянском и т. д. Хорошо ориентировался в древней и новейшей истории. И конечно, был всесторонне осведомлен в мировой и отечественной литературе. Как многие его коллеги-современники, По уделял особое внимание изучению философии от античности до своего времени. Литературу он знал так глубоко и тонко, что впоследствии в своих произведениях свободно и непринужденно пародировал сюжеты, стиль европейских и американских писателей и, кстати, библейскую прозу, исторические исследования, труды путешественников и ученых-географов.

Вопреки воле приемного отца Эдгар бросил университет. После смерти миссис Аллан, которая любила и защищала Эдгара, ничто уже не связывало его со строгим воспитателем мистером Джоном, с домом, где он провел детство и юность. Аллан отказался материально помогать непокорному воспитаннику. В двадцать лет тот начал самостоятельную жизнь. Перед окончательным разрывом была еще добровольная попытка поступить на военную службу в Бостоне. Во время пребывания в армии юноша служил в составе артиллерийской батареи, которая была расположена в форте Моултри на острове Сэлливан, так органично изображенном По

в его замечательном рассказе «Золотой жук». Служба в артиллерии имела еще один положительный для его дальнейшего творчества момент. Знание математики всегда было обязательным для артиллериста. По – один из немногих поэтов, кто был хорошо знаком с математикой, физикой и другими точными науками.

Когда По был солдатом, вышла его первая книга стихов «Тамерлан и другие стихотворения». Автор не решился поставить на титульном листе свое имя. Анонимная книжка, куда были включены ранние и в основном незрелые произведения, осталась незамеченной.

В 1829 году в Балтиморе По издает новый сборник «Аль Арафа, Тамерлан и мелкие стихотворения». После освобождения из армии начинается трудный и путанный период в жизни юноши. Он переезжает с места на место, не имеет ни постоянной работы, ни жилья, ни средств к существованию. Пытается учиться в военной академии Уэст-Пойнт, но его исключают со скандалом за недисциплинированность. Однако в самых неблагоприятных условиях он и далее пишет стихи, и в 1831-м они выходят под скромным названием «Стихотворения». Поэт находит убежище у своей тети по отцу Марии Клемм в Балтиморе, где живет с 1831-го по 1835 год. После успеха на конкурсе филадельфийского журнала «Сетерди куриер», куда По послал свои первые рассказы, молодой автор рьяно берется за прозу. Первые пять рассказов были опубликованы в том же филадельфийском журнале. После этого новеллы писателя печатают и перепечатывают газеты и журналы разных городов, но заработка это не приносит. О литературных гонорарах, характере полемики между различными изданиями, «объективности» критики и других проблемах американской журналистики По написал в сатирическом рассказе 1844 года «Литературная жизнь Какваса Тама, эсквайра». Гипербола и гротеск – оружие сатиры, но желчные преувеличения и злая карикатура в этом произведении не кажутся плодом разбушевавшейся фантазии, писатель просто писал с натуры. Впоследствии Марк Твен в своих произведениях не раз подтвердит справедливость наблюдений талантливого предшественника. В упомянутом рассказе есть и своеобразная самоирония. Собственный опыт уже зрелого писателя словно диктовал ему строки о молодой ненасытной жажде похвал, о готовности Тома Гавка (томагавка) громить своих коллег-конкурентов воинственным способом. Неслучайно его герой становится редактором журнала и имеет успех на этом поприще. В биографии По тоже начинается время, когда он в Ричмонде редактирует журнал «Сатерн литерэри мессенджер» (1835-й – начало 1837 г.), в котором были напечатаны его многочисленные произведения. Наступает определенная материальная стабильность. В 1836 году Эдгар По женится на своей двоюродной сестре Виргинии. Писатель горячо любил жену, прекрасную женщину с кротким нравом и романтической красотой. Она вдохновляла его на лирические стихи, полные утонченной красоты и музыкальности.

Первые годы, прожитые с Виргинией, были самыми счастливыми и плодотворными в жизни По. В Филадельфии, где поселилась семья, он работает редактором в различных журналах, пишет критические статьи, имевшие большой резонанс. В 1839 году выходит двухтомный сборник его рассказов «Гротески и арабески», в который вошло двадцать пять произведений. За рассказ «Золотой жук» По летом 1843 года получает литературную премию. Состоялся переезд в Нью-Йорк, где писателя снова ждали редакторская работа и вдохновенный труд над стихами и прозой. В январе 1845 года в газете «Ивнинг миррор» впервые напечатано прославленное произведение По – поэма «Ворон», а летом появляются в печати «Рассказы», чуть позже – сборник стихов «Ворон и другие стихотворения». Наконец к Эдгару По приходит широкое признание. Но творческий успех омрачается личной драмой: тяжело болеет Виргиния, туберкулез подтачивает ее слабый организм, и в январе 1847-го жена писателя умирает.

Как будто уходя от тоски и одиночества, По в последние годы и месяцы жизни много путешествует. Он выступает с лекциями, посвященными теме «Поэтический принцип», читает собственные стихи, пишет и новые. Несмотря на тоску и отчаяние, пытается строить планы личной жизни, нового творчества. Но ни тем, ни другим не суждено осуществиться.

Двадцать восьмого сентября 1849 года По на корабле отплыл из Ричмонда в Балтимор. Третьего октября его нашли в Балтиморе на улице без сознания и в очень тяжелом состоянии, а седьмого он умер в госпитале.

Обстоятельства его смерти остались невыясненными, и эту тайну тщетно пытаются разгадать специалисты и дилетанты до наших дней. Версий хватает, нет убедительных фактов и доказательств.

Теперь, более чем полтора столетия от дня смерти великого американского романтика, мы яснее, чем современники художника, видим его принадлежность к всемирному братству художников первой половины XIX века, духовным родственником или даже духовным отцом, образцом и наставником которых был Байрон. Этим художников из разных стран мира объединяет общность творческих принципов и общность определяющих черт характера. Даже жизнь у всех знаменитых романтиков слишком коротка. Шелли, Китс, Леопарди, Мицкевич, Эспронседа, Маха, Лермонтов, Бараташвили, Петефи и многие другие ушли из жизни преждевременно. Почти никто из них не перешагнул за грань пятидесяти лет, а большинство умерли или трагически погибли, не дожив и до тридцати. И как ни мистически это звучит, в короткой и трагической судьбе романтических художников чувствуется какая-то роковая закономерность. Не стала исключением и судьба Эдгара По.

У Эдгара По есть меткая характеристика собственной повествовательной манеры. В одном из писем он писал о своих ранних произведениях, которые должны были войти в сборник «Рассказы Фолио-клуба»: «Вы спрашиваете меня, в чем заключаются их характерные особенности. В бессмыслицах, доведенных до гротеска, в страшном, которому предоставлен оттек ужасного; в остроумии, возвышенном до степени бурлеска, в непривычном, превращенном в странное и таинственное». Подтверждение этих слов можно найти не только в ранних рассказах, те же характерные для романтического стиля черты встречаем впоследствии и в совершеннейших прославленных произведениях писателя.

Рассказы По отличаются друг от друга сюжетом, настроением, самым тоном так, что, кажется, трудно найти для них общий стилистический знаменатель (по которому мы узнаем руку того или иного мастера). По содержанию и формальным признакам можно условно выделить следующие группы рассказов: психологические целиком или такие, где психологизм преобладает; пародийные и юмористические; сенсационные с ироническим привкусом или без него; приключенческие; мистические, в которых изобилует фантазия и пугают читателей готические ужасы; лирически-романтические, напоминающие стихи в прозе; философские диалоги; рассказы о путешествиях; логические или детективные; научно-фантастические (две последние группы проложили путь новым литературным жанрам). Встречаются и переходные формы, в которых сочетаются юмор и трагедия, поэтичность и научность, создавая причудливое и странное единство. И хотя разнообразие, богатство звучания новеллистики По поражает, стилистический знаменатель у нее определенно есть – это романтизм со всей щедрой и красочной палитрой его приемов.

Это и необычность сюжетов, экстравагантных и bizarre (странных), как любил подчеркивать сам автор, и ослепительная яркость, напряженность загадочных, таинственных образов. Они часто гротескные и почти всегда гиперболизированные во всех своих чертах и качествах – от гигантских размеров до порожденного ими поразительного эмоционального воздействия. Острые контрасты красок, небывалые, невиданные масштабы и формы, безумные страсти и крайне напряженные чувства – все это течет в прозе По в русле романтизма. Вот, например, описание того, что чувствовали мореплаватели во время бури: «То мы задохлись от недостатка воздуха, поднявшись выше птичьего полета, то с головокружительной быстротой слетали в водяную бездну, где воздух отзывался болотной сыростью». А вот как выглядят в том же рассказе «Рукопись, найденная в бутылке» матросы корабля-призрака: «Колени его дрожали, и все тело сгорбилось под бременем лет. Он что-то бормотал себе под нос слабым прерываю-

щимся голосом на непонятном языке, копаясь в углу, в груди каких-то странных инструментов и старых морских карт». Подобные образные гиперболы встречаем во многих рассказах приключенческого, мистического или пародийного характера.

Контрасты, как и гиперболы, – важная составная часть романтического образного мира писателя. Они предоставляют особую яркость его палитре, усиливают краски, вызывают стилевое напряжение. Эта склонность подчеркивать контрасты в целом приводит к сочетанию в одном рассказе страшного и смешного или объединения в одном прозаическом сборнике произведений с совершенно отличным эмоциональным звучанием. Уже в первой задуманной По книге «Рассказы Фолио-клуба» должны были стоять рядом мрачный «Метценгерштейн» и юмористический «Герцог де л'Омлет», анекдотическое «На стенах иерусалимских» и остро сатирическое «Без дыхания», шуточный «Бон-Бон» и ужасающая «Рукопись, найденная в бутылке», притворно-трагическое «Свидание», отвратительно ужасная «Береника» и фарсовые «Страницы из жизни знаменитости» и другие. Впоследствии эти рассказы, а также многие другие вошли в прижизненные издания прозы По, составленные по тому же контрастному принципу.

Еще один из приемов, характерных для романтизма и любимых По, – накопление образов и тропов, их нарастание до излишества. Красочные экзотические описания становятся вроде самодостаточными, тормозят действие, экспозиция некоторых рассказов кажется рассчитанной на значительно более долгий сюжет. Но такая диспропорция между пространным, детализированным, пышным вступлением и кратким описанием событий характерна только для менее удачных ранних рассказов. В зрелом периоде творчества писателя все части произведений более взвешенные, строение рассказов гармоничнее, что не исключает образного великолепия, разнообразия красок, буйства невероятного.

Никто не станет отрицать, что богатство и огромная творческая сила странной и *bizarre* фантазии Э. По – яркая черта его таланта. Как мощная фата-моргана, она порождает все новые удивительные картины. Призрачные, они кажутся полными жизни – красок, ароматов, блеска и теней. Достоевский так характеризовал воображение По: «В способности его воображения есть такая особенность, которую мы не встречали ни у кого, – это сила подробностей... В повестях По вы до такой степени ярко видите все подробности изображенного им образа или события, что в конце вроде убеждаетесь в их возможности, реальности, тогда как это событие или вовсе невозможно, или еще никогда не происходило на свете».

Образы и картины По конструируются (если этот технический термин подходит для описания акта рождения произведения фантазии, интуиции, мысли) на основе органического сочетания полной вымышленности общего и тщательной точности, предметности всех деталей. Это придает пластичную и даже техническую убедительность маловероятному или просто невероятному. Прием сочетания фантастической идеи или принципа и тщательно выписанных, вполне вероятных подробностей их воплощения стал ведущим у последователей По в области «сайенс фикшн» – Жюль Верна, Герберта Уэллса и сотен других писателей-фантастов уже нашего времени. Этому же приему у По подчинено и широкое применение вымышленных фамилий великих ученых и изобретателей в ряду настоящих имен, частые указания на конкретные даты, названия стран и местностей, географические широты и долготы, время и место придуманных автором событий. Все это имеет одну цель – убедить читателя в реальности нереального.

С другой стороны, писатель нарочно подчеркивает придуманность определенных ситуаций и персонажей, создает карикатуры, капризные гротески, обращает описание событий в буффонаду и фарс. Это случается в юмористических, сатирических произведениях, пародиях, которых много у По.

Одна из наиболее часто применяемых красок в палитре мастера новеллистики – ирония. В портрете, диалоге, ситуации, в главной идее произведения, как и в подробностях описания,

звучит иронический тон – открыто или в подтексте, весело или язвительно. Кроме того, в некоторых строках прозы По ощущается и самоирония, весьма остроумная и язвительная. Иронией По борется против зла всемирного и обыденного, обывательского, против псевдонауки и псевдокультуры, против страха и беспомощности. Ирония у него может быть всеобъемлющей, сокрушительной, а может вызвать просто смех, развлекать как одно из средств юмора.

Сатирические, юмористические, пародийные рассказы в новеллистическом наследии По составляют самую многочисленную группу. А если добавить к ним те произведения, где прихотливо смешаны шутка и ужас, можно было бы утверждать, что писатель – юморист *par excellence*. Правда, довольно мрачный, а иногда и жестокий, но юморист. И в памяти читателей остаются прежде всего его трагические рассказы с их зловещей атмосферой, мистикой, страхами, тайнами, темными и болезненными пристрастиями. «Маска Красной Смерти», «Вильям Вильсон», «Черный кот», «Лягушка» и другие подобные рассказы запечатлеваются в наше сознание, становятся своеобразной приметой прозы По. Конечно, это и свидетельство их художественной силы, оригинальности, эмоционального воздействия.

Однако было бы несправедливо недооценивать и иронично-юмористический талант рассказчика «Человека, которого изрубили в куски», «Короля Чумы», «Дельца», «Системы доктора Смолла и профессора Перро», «Трагического положения» и многих других сатирических и пародийных шедевров.

В названных произведениях прочно слито в выразительную, яркую целостность страшное и жалкое, драматическое и смешное. Рассказы часто имеют двойное дно, как, например, «Система доктора Смолла и профессора Перро».

Это один из лучших рассказов Э. По. В нем сконцентрировано все самое примечательное для стиля, тематики и галереи образов автора. Произведение отмечено стремительным действием, в нем нет лишних подробностей, но уже с самого начала возникает атмосфера загадочности, чему способствует небудничное место событий. Наивный и доверчивый рассказчик попадает через свою заинтересованность наукой (на этот раз медициной) в старый полуразрушенный замок, где находится частная клиника для умалишенных. Во время роскошного ужина гость знакомится с довольно странной компанией приятелей и подруг хозяина – владельца и главного врача клиники. Перед ним целая кунсткамера чудиков и монстров, к тому же в непривычной одежде (вспомним описание участников пира в «Короле Чумы» или гостей маскарада в «Лягушке» и т. д.), что еще больше усиливает гротескность их поведения.

Иронический эффект не в последнюю очередь возникает от того, что читатель догадывается о правде раньше, чем наивный рассказчик. Оказывается, что эти принаряженные гости – пациенты сумасшедшего дома во главе с врачом, который тоже сошел с ума. Они захватили власть в больнице, посадили надзирателей на хлеб и воду, предварительно обваляв их в смоле и перьях, а сами радуются жизни, пьянствуют и дают волю своим маниям. Мысль о том, что грань между психическим здоровьем и безумием неуловимо тонкая, проявляется у По не раз. Но рассказы глубже этой поучительной идеи. Миром правит низменное безумие, которое считает себя единственной формой здоровья, – так тоже можно прочитать скрытый смысл произведения, в котором смешное и страшное смешано самым капризным образом.

Чистый юмор, шутовство без особой глубины, без сатирических уколов – главное в причудливо и игриво написанных рассказах «Четыре зверя в одном», «Почему французик носит руку на перевязи», «Никогда не закладывай черту своей головы», «Три воскресенья на одной неделе», «Мошенничество как точная наука», «Очки», «Как была набрана одна газетная заметка» и другие. Эти веселые и остроумные произведения – еще одна грань разнообразной новеллистики По, светлые, радужные краски его палитры. И в этих рассказах писатель обнаруживает свою щедрую фантазию, склонность к преувеличениям, гротеску, изобретательности и эрудиции. Некоторые из анекдотов и пародий тесно связаны с реалиями американской жизни, в них звучит острая критика определенных проявлений общественной жизни США: погони

за деньгами, культа успеха любой ценой или таких институтов, как пресса, рекламное дело и т. д. В окрашенной юмором и иронией новеллистике По находим ростки многих тем, которые впоследствии будут шире освещены в творчестве Марка Твена и других писателей США от О'Генри к Вуди Аллену.

Одна из характерных особенностей произведений По – таинственность. Он как будто чарами создает настроение загадочности, недосказанности, намеками описывает непостижимое, то, что не поддается логическому толкованию, изображает странные последствия, не называя причин. Он использует для этого весь арсенал приемов романтизма и готики. Средневековые замки с мрачными галереями и переходами, влажными подвалами, щербатыми узкими ступеньками и заплесневелыми стенами, ужасные застенки, погруженные в темноту улицы портового города, где на каждом шагу таится опасность, господствуют преступление, болезнь, грех, – в его произведениях не только фон, но и элементы действия. Среди этих декораций страдают и причиняют страдания другим таинственные демонические персонажи, над ними тяготеет рок – чаще безумие или какое-то неназванное извращение, борются с насильственной смертью несчастные жертвы, которые неизвестно за какие провинности оказались в лапах своих всемогущих врагов. Появляются грозные незнакомцы, сея вокруг себя жуткий ужас – смерть во всевозможных масках, вездесущую и неумолимую. Эпидемия проходит сквозь стены, ее нельзя остановить, против нее нет лекарства. Для зла не существует дверей и замков, ничто не помешает его победному шествию. Человек действует на беду себе, над его душой имеет власть «чертик противоречия», прихоть антилогики, разрушительный внутренний хаос.

Уже упоминалось, что По любит точность, пространные описания подробностей там, где хочет создать иллюзию реальности нереальных событий и явлений. Вместе с тем он «хитро» и «коварно» прибегает к умалчиванию именно тогда, когда читатель стремится найти разгадку тайны, доискаться истины. Прием заманивания читателя в лабиринт таинственного, откуда нет выхода, – один из самых сильных в эмоциональном плане. Он вызывает острое чувство недовольства, разочарования, побуждает к размышлениям, поиску разгадки, оставляет после себя беспокойство и напряжение. Например, в наше время к нему не раз прибегал выдающийся писатель-фантаст и ироничный мистификатор Станислав Лем (романы «Расследование», «Насморк»).

В некоторых таинственных сюжетах По загадка, вокруг которой облаком скапливается непостижимый страх, решается весьма материалистически, хотя и не просто. Такова, например, расшифровка загадочных фактов в «Продолговатом ящике», «Сфинксе», «Черном коте» или ужасного призрака, который мучил героя в «Преждевременном погребении». Интересно, что рассказы с материалистическим ключом к тайне по времени создания стоят рядом с такими сложными философско-мистическими произведениями, как «Месмерическое откровение», «Повесть скалистых гор», «Ангел удивительного», где материалистического объяснения нет или, как кажется, и не может быть. Перед нами типичное для По парадоксальное сочетание противоположностей. С одной стороны, он в обоих типах повествования мистифицирует читателя (таинственное оказывается довольно обычным или не проясняется, оставаясь совершенно загадочным), а с другой – логика авторских рассуждений везде одинакова. Тайна для него – это то, что пока непознанное, а не то, чего и узнать нельзя.

Слово «мистификация» уже не раз появлялось на этих страницах. И не случайно. У Эдгара По есть даже рассказ под таким названием. Что касается самого приема, то писатель прямо-таки виртуоз самых мистификаций. Одна из них вошла в анналы нью-йоркской прессы. Рассказ «История с воздушным шаром» был напечатан в виде специального приложения к газете «Сан», – там обычно печатали сообщения о сенсационных реальных событиях. Можно себе представить, какой взрыв чувств вызвал на рассвете воздухоплавания рассказ об успешном перелете через Атлантический океан, одобренный множеством наукообразных ссылок, фамилий исследователей и ученых, убедительных до осязаемости на ощупь подробностей.

Пока вышел следующий выпуск газеты, в котором мистификацию было дезавуировано, толпа любопытных штурмовала редакцию, требуя новых вестей. Интересна и другая мистификация – рассказ «Фон Кемпелен и его открытие», где серьезным научным тоном По пишет о превращении свинца в золото. Он так блестяще пародирует стиль научного сообщения, что ему просто невозможно не поверить. Писатель сам объяснял, что этой мистификацией хотел сбить волну массовых выездов в Калифорнию, где были открыты залежи золота. И это ему в определенной степени удалось.

Как гипербола или гротеск, ирония или таинственность, мистификация появляется у По на разных уровнях текста. Она может быть сюжетной, как в приведенном выше примере, стилевой, как в откровенных или скрытых пародиях, выступать даже в отдельных словах-реалиях, например, в фамилиях авторитетных ученых, которых писатель придумал, или в названиях так же порожденных его фантазией научных произведений. Мистификация через самоиронию проявляется в рассказе «Как писать Блэквудскую статью» или в его продолжении «Трагическое положение». Вызывающе смеясь над сенсационной прозой популярного журнала, По высмеивает и определенные ситуации и образы своих произведений, написанных в том же духе. Так что произведение «гениальной писательницы» Психеи Зенобии (точнее Психи Сноб), написанный по рекомендациям редактора «Блэквуда», подозрительно напоминает (конечно, в пониженном плане) такие рассказы самого По, как «Лигейя», «Черт на колокольне» или «Колодец и маятник».

Некоторые из рассказов По производят двойственное впечатление. Написанные вполне серьезно, в мрачно-мистическом духе, они уже самим сгущением готических ужасов вроде подсказывают, что автор мистифицирует, обманывает читателя. Кажется, перед нами пародия на популярные произведения подобного характера, которые с особым рвением печатали американские журналы. Зная из других рассказов писателя, каким научным, строго логичным был его ум, трудно избавиться от подозрения в иронической мистификации. Склонность создателя «Короля Чумы» или «Человека, которого изрубили в куски» к жесточайшей сатире, к всеобъемлющей иронии, к откровенной насмешке над тем, что он считает нужным подвергать критике, еще больше усиливает это подозрение. Двойное дно рассказов, подобных «Метценгерштейну», «Свиданию», «Беренике», «Что случилось с господином Вальдемаром?» и др., вызвало противоречия в их оценке среди исследователей творчества По. Они по-разному толковали их жанровую природу, скрытый смысл. Например, такой ультраромантичный рассказ, как «Свидание» с его удивительно прекрасными героями-любовниками, которые трагически погибают из-за своей греховной любви, загадочным и роскошным венецианским антуражем, кое-кто был склонен считать «шутливой пародией на Байрона, графиню Терезу Гвиччиоли и ее прежнего мужа», а в образе рассказчика видеть друга Байрона, английского поэта Томаса Мура, посетившего Байрона в Венеции.

Романтические персонажи серьезных рассказов По наделены неслыханной красотой или невиданной омерзительностью, они страдают от странных болезней, находятся в необычных физических и психических состояниях, становятся жертвами безумных страстей, испепеляющих не только их, но и объект их любви или ненависти. Это чаще всего одиночки, погруженные в мир собственного воображения, очень далекие от реальности, или мономаны, чей разум болезненно сконцентрирован на одной идее или одном чувстве. Часто их отличие от других людей граничит с патологией, с безумием или переходит границу между психическим здоровьем и болезнью, разрушает личность. Они могут быть либо добродетельными и светлыми душой, как ангелы, или греховными и злыми, как дьяволы.

В портретах сатирически изображенных персонажей преобладают приемы карикатуры с назойливым подчеркиванием какой-то черты лица или части тела, которая, как нос гоголевского майора Ковалева, приобретает особую жизненность и дерзкую самостоятельность, заслоняя своего владельца («Король Чума»).

Иногда в характеристиках серьезных героев По проступают сознательно или подсознательно наделенные этим персонажам определенные черты собственного характера писателя. Например, в «Дневнике Джулиуса Родмена» есть такие строки: «Фактов он никогда не преувеличивает, и его впечатления от этих фактов могут показаться преувеличенными. И в этих преувеличениях нет никакой фальши. Все дело в чувстве, которое вызывают у него увиденные предметы. Колорит, который может казаться пестрым, для него был единственно верным».

А в рассказе «Элеонора» герой так говорит о себе: «Я из тех, кому известны буйные фантазии и безумные страсти. Меня называли сумасшедшим, но кто знает, может, безумие – это высший разум и почти все знаменитые деяния и каждая глубокая мысль, порожденные болезненным состоянием – определенным настроением духа, вознесшимся за счет безумия. Те, кто мечтает днем, знают намного больше, чем те, кто только ночью видит сны». Примеров таких черт собственного характера писателя, переданных его персонажам, можно привести больше. А некоторым он дарит моменты своей биографии, подробности личной жизни.

Психологизм – одна из характерных свойств прозы Эдгара По. Его романтические герои могут быть кем угодно, только не простыми людишками, а состояния, в которых они находятся, слишком далеки от нормальных. Именно поэтому с таким восторгом мы читаем тонко нюансированные описания их переживаний, следим за часто парадоксальными переходами из одного психологического состояния в другое. По раскрывает диалектику души в предельных ситуациях, следит за малейшими изгибами мысли и эмоций. В рассказе «Колодец и маятник» он создает целую симфонию эмоциональных состояний, показывает рождение безумной надежды вопреки очевидному, раскрывает способность человеческой души бороться до конца против неминуемой гибели. В «Бочонке амонтильядо» или «Черном коте» освещает изнутри механизм такого разрушительного чувства, как ревность и жажда мести. В том же «Черном коте», «Вильяме Вильсоне», «Сердце-обличителе» и в некоторых других рассказах дает почти клиническую картину маниакального состояния, которое приводит к преступлению и вспышке буйного безумства. Есть у него и анализ всепобеждающего чувства любви, которое растворяет волю и личность влюбленного в воле любимой, есть рассказ, как любовь перерождается в ненависть и даже желание убить когда-то обожаемую женщину. Страх смерти, нарастание этого неотступного чувства, медленный распад личности под влиянием ужаса, так же как трагическое влияние одиночества на человека («Вильям Вильсон», «Человек толпы») – вот лишь некоторые из психологических тем в произведениях писателя. Он – один из первых, кто глубоко раскрыл болезненную психику, то, о чем впоследствии так много писали разные художники от Золя до Фолкнера. В этом По близок к своему гениальному современнику Николаю Гоголю, автору «Записок сумасшедшего», «Носа», «Портрета» и других. Э. По привлекали психологические парадоксы, немотивированные чувства и поступки. Недаром он написал своеобразную разведку «Чертик противоречия» об особом влечении человека к бессмысленным и пагубным воздействиям. В нашем веке психологическая проза достигла чрезвычайного развития, и можно утверждать, что писатели разных направлений – от реалистов до экзистенциалистов – могли использовать и использовали психологические находки американского мастера.

Эдгар По отмечался интеллектуальной утонченностью, незаурядностью мышления, поразительной силой интуиции, которая позволяла ему воображением заглядывать в будущее. Вспомним рассуждения следователя Дюпена о логике математического ума и логике мышления вообще или в конкретных областях науки или творчества. Дюпен говорил об ограниченности чисто математического ума и о его безграничности, если он окрылен поэзией. В характере самого писателя состоялся этот редкий синтез холодного, острого, скептического ума, который все подвергает анализу и безжалостной критике, и тончайшей поэтической чувствительности, выходящей за рамки обычных человеческих чувств. Эмоциональная насыщенность поэзии По, как и многих прозаических произведений, кажется усиленной тем обстоятельством, что в душе

автора «Города среди моря», «Анне», «Аннабель Ли» постоянно звучат слова «memento mori», напоминая о преходящести человеческого существования, о близости могилы.

К темам, которые в разнообразном творчестве По встречаются слишком часто, а иногда приобретают и оттенок навязчивости, объединяя ряд произведений, относится прежде всего тема смерти. Смерть, естественная и насильственная, выступает у писателя в десятках лиц. Это и гибель от таинственной неизлечимой болезни, ужасной эпидемии или не менее ужасной мести, медленное умирание, картина которого холодно и точно подается с откровенной натуралистичностью, как медицинское описание. Такое же умирание может вырисовываться поэтически (особенно когда речь идет о гибели молодых прекрасных женщин). Это ужасная смерть в муках от руки убийцы или мстителя с садистскими наклонностями, таинственная гибель от вмешательства внеземных сил среди раскатов грома и вспышек молний, грозной ярости разбушевавшихся стихий. Поэтизация и обнажение акта смерти идут у писателя рядом. Его интересует именно момент перехода в небытие. Он пишет о сне, летаргии, гипнотических состояниях, похожих на смерть, о потрясающих случаях погребения заживо, когда люди просыпаются в могиле и тщетно пытаются выйти из гроба. Наконец, его интересует такой модный в начале XIX столетия месмеризм, т. е. учение австрийского врача Месмера о «животном магнетизме», гипнозе, который даже может остановить трупное разложение. Все это не просто изображено в нескольких рассказах, а почти научно проанализировано. Такой повышенный интерес к теме смерти объяснялся разными причинами – и личными, и философско-научными и религиозными. За свою достаточно короткую жизнь По потерял почти всех близких людей – родных и приемных родителей, свою первую любовь, жену, многих знакомых. Страдания от разлуки, мечта о воссоединении в другом мире побудили интересоваться темой метемпсихоза – переселения душ, их новым воплощением. Был тогда в Соединенных Штатах и особый взгляд на все сенсационное, например преступления, убийства, оживление умерших с помощью гипноза или гальванизации, метемпсихоз или месмеризм. И это тоже диктовало писателю его сюжеты. Кроме того, присущие романтизму тяга к меланхолии и интерес к душевным расстройствам также склоняли к трагическому и смерти.

Смерть как тяжелое страдание, завершение трагедии притягивает романтика По, мысли о гибели мучают По – нервного, впечатлительного человека, к представлению о смерти как «всего лишь болезненном преобразовании» не раз обращается По-философ. Как и его персонажи, он думает, что «наше настоящее воплощение преходящее, предварительное, временное. А будущее – совершенное, завершенное, нетленное. Будущая жизнь является осуществлением того, что нам суждено» («Месмеричное откровение»). Пожалуй, в творчестве он пытался освободиться от комплекса смерти, предоставляя героям собственные противоречивые мнения, фиксируя их на бумаге. Это одно из возможных толкований. И вероятно, не единственное. По вкладывал в уста своих персонажей слова об «ужасном состоянии, переживаемом нервными людьми, когда чувства живут, а силы разума спят» («Тень»), или о том, что «нематериальности не существует. Это просто слово. Нематериального не существует вообще, если только не отождествлять предмет с его свойствами». Это мнение о торжестве материального, о духовности как о форме материи: «Есть степени превращения материи, о которых человеку ничего неизвестно; более простые и примитивные пробуждают тонкие и изощренные... Эти степени поднимаются все выше, теряя одновременно густоту и плотность, пока в конце мы достигаем материи, уже совершенно лишенной предметности, неделимой и единой...» («Месмеричное откровение»).

Некоторые философско-мистические размышления персонажей По советская критика или замалчивала, или рассматривала как плод некритически воспринятых псевдонаучных идей тогдашней эпохи, отвергнутых материалистической наукой. В наши дни через формулы и терминологию XIX столетия мы с удивлением видим такое, что очень близко поискам многих наших современных ученых. Они говорят о душе как о реальном, о жизни после смерти,

используя для доказательства своих гипотез достижения квантовой физики, представления о лептонах или лептонных газах как носителях наших мыслей и чувств во времени и пространстве и т. д. В этих гипотезах говорится и о шестом органе чувств – душе, которая не имеет своего конкретного материального воплощения и которая особенно развита у эмоциональных людей – поэтов, художников. Известны специальные исследования о том, что чувствовали и видели люди, пережившие состояние клинической смерти. Кстати, некоторые из них в этом состоянии видели, как их тело покидает душа.

Рассказы По, в которых люди проявляют свои подсознательные мысли и чувства под влиянием месмеричного гипноза, поднимают завесу над тайной состояния, промежуточного между жизнью и смертью, и долгое время казались лишь произведениями богатой фантазии автора. В наши дни сеансы гипноза широко используются для различных практических целей, и люди с неслыханной точностью рассказывают о том, чего в состоянии сознания они не помнят или не знают.

Это не означает, что все философско-теоретические рассуждения Эдгара По имеют научную основу. Но считать его размышления о жизни и смерти тела и души, о материи и духе, о подсознании лишь безосновательными мистическими фантазиями – тоже неправильно.

Об умении По заглядывать в будущее, опережать мнением своих образованных современников писалось уже не раз. Интересные соображения по этому поводу Александра Блока: «Тот факт, что По жил в первой половине XIX века, не менее странный, чем тот, что испанский художник Гойя жил в конце XVIII столетия. Произведения По написанные якобы в наше время».

Фантазия По, в отличие от творчества предыдущего поколения романтиков, часто имеет опору, серьезное основание в научных знаниях тогдашней эпохи, в смелых гипотезах, которые впоследствии были подтверждены. И это обстоятельство делает его, с одной стороны, близким к просветительству XVIII века, а с другой – к современным писателям, создателям научной фантастики. Это же определяет и своеобразие американского художника среди других романтиков.

Математика воспитала в По склонности к абстрактному и логическому мышлению. Он интересовался астрономией, теориями возникновения вселенной. Кроме того, хорошо играл в шахматы (писал об этой игре), занимался теорией игр, знал принципы дешифровки. Став одним из самых влиятельных основателей новой научной фантастики, По, в отличие от фантастов-предшественников, акцентировал внимание читателя не на чистой выдумке, а на научных предвидениях и прогнозах. У него самого есть поразительные догадки, интуитивное предвидение будущего, как, например, в рассказе «Разговор Эйрос и Хармионы». В этом произведении писатель изобразил страшную картину гибели мира от столкновения Земли с огромной кометой. И это описание удивительно напоминает картину атомного или водородного взрыва: «Мгновение неистово полыхал свет, пронизывая каждый уголок... Тогда послышался гром, раздающийся повсюду... и вся масса эфира, в которой мы существовали, моментально занялась таким пламенем, что для его ослепительной яркости и палящего жара нет слов даже у ангелов, живущих в высоком небе чистых знаний. Так все и закончилось».

По не раз с детальнейшими подробностями описывал летательные аппараты, легче воздуха, которые не просто двигались над морями и континентами, но и преодолевали космические просторы. «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля», «История с воздушным шаром», «*Mellonta tauta*» опережали в этом романы Жюль Верна (например, «Из пушки на Луну») или научную фантастику Герберта Уэллса.

В юмористическом описании полета Ганса Пфааля на Луну есть серьезные рассуждения о самочувствии астронавта и вообще живых существ в космосе, и мы снова удивляемся прозорливости писателя, так же как и в рассказе «*Mellonta tauta*», где он пишет о железной дороге будущего, и поезд преодолевает пространство со скоростью триста миль в час. Как доказано

исследователями, По сделал только два путешествия через океан, когда вместе с Алланом плыл в Англию и обратно. Он много ездил по Америке и, кроме Англии, за границей не бывал. Тем более захватывают его живописные и точные описания чужих земель, его подробное знание морского дела. Интересно, что для рассказа «Низвержение в Мальстрем» писатель воспользовался сведениями Британской энциклопедии, а позже это издание в новых выпусках цитировало описание Мальстрема... по тексту По, так эффектно он изобразил это природное явление (когда читаешь этот текст, на ум приходят современные материалы о Бермудском треугольнике. Опять По как будто заглянул в будущие проблемы). Можно продолжать перечень профессиональных вопросов по различным наукам, с которыми По был ознакомлен и которые оригинально воплотились в его художественном творчестве. Вспомним, что он был соавтором специального произведения о ракушках. Эта научно-популярная работа имела успех и переиздавалась несколько раз.

Эдгар По – один из немногих тогдашних и великих писателей, кто с таким интересом и восторгом следил за достижениями научной мысли, за техническими изобретениями, кто так тянулся ко всему необычному, новому, только что открытому в мире природы. И в этом проявилась его «американскость» – характерная черта гражданина страны, где технический и научный прогресс был самой движущей силой развития. Об этой увлеченности свидетельствуют и публицистика, и художественная проза автора «Тысяча второй сказки Шехерезады». Этот юмористический рассказ является развернутым текстом жены султана о чудесах нашей земли. Своей реальной невероятностью они превосходят любую фантастику и вызывают сомнения и скепсис у султана, что для сказочницы заканчивается весьма печально. По успешно использует прием, который в наше время с легкой руки Виктора Шкловского называют «эффектом очуждения», т. е. показывает известное под новым углом зрения, раскрывает его странные, необычные стороны. Рисуя технические открытия – пароход, паровоз, телеграф, воздушный шар и т. п., – Шехерезада описывает их с точки зрения человека средневековья. Это вызывает не только «эффект очуждения», но и веселый смех. Следовательно, и в этом Марк Твен продолжает традицию По в своем романе «Янки при дворе короля Артура».

Бесконечный процесс познания мира представлялся писателю, как это следует из философского диалога «Сила слов», счастьем: «Ох, счастье не в самом знании, а в получении этих знаний. Вечно познавая, мы вечно блаженны... единственная цель бесконечной материи – создать множество источников, из которых душа может утолять всегда ненасытную в пределах материи жажду познания, ибо утолить эту жажду значит уничтожить бытие души». Круг чтения Эдгара По, о чем свидетельствуют и его произведения, был очень широк и удивительно разнообразен. Он следил за открытиями в областях различных наук, рецензировал специальные труды по философии, биологии, географии, истории, широко использовал полученные знания в своих художественных произведениях. Его увлекал процесс создания новых реальностей с помощью научных открытий, воплощения в жизнь величественных планов, приумножающих блага мира, украшающих его. С чисто американским практицизмом он предлагал немедленно воплощать в жизнь научные теории, опережая художественным словом медленный, как ему казалось, прогресс. Его воздушные шары пересекали Атлантический океан или даже летали в космос гораздо раньше, чем могли это сделать настоящие летательные аппараты, а исследователи возвращали жизнь умершим, останавливая с помощью месмерических ремней смерть и разложение.

Фантазия По дает иногда странные и одновременно рациональные плоды. Например, в рассказе «Поместье Арнгейм» он излагает теорию парковой архитектуры как искусства не менее прекрасного, чем живопись, скульптура или музыка. Увлечение созданием поэтически прекрасных садов приобрело особый размах в XVIII веке во всех европейских странах. В США По первым воспел этот вид искусства, доказывая великолепие своего вымышленного парка до неслыханного и невиданного, превосходящего мифические сады Семирамиды. Националь-

ные парки страны и даже такая коммерческая организация, как прославленный Диснейленд, видимо, являются далекими наследниками поэтических фантазий По.

Некоторые поэзии и рассказы По напоминают уже когда-то услышанное, знакомое. Когда это сходство подтверждается сопоставлением со стихами или прозой Кольриджа, Гофмана или Вашингтона Ирвинга, ясно, что здесь выразителен отзвук знакомства По с произведениями этих художников и его искреннего восхищения ими. Нельзя забывать и о поразительной стилистической восприимчивости, которая делает такими эффектными пародии По на разных литераторов («Герцог де л'Омлет», «Трагическое положение», «Черт на колокольне»).

И значительно больше моментов узнаваемости возникает при чтении книг литераторов, писавших после По, то есть тех, на кого он произвел несомненное влияние. Это символисты, неоромантики, многие писатели-декаденты, некоторые представители экспрессионизма и, как бы неожиданно это не звучало, довольно многочисленный отряд реалистов.

Символисты разных стран, в том числе и отечественные, называли По своим предшественником и учителем. В целом это так, хотя определенно прав был и Александр Блок, когда писал: «Мир его творчества так широк, что вряд ли справедливо считать его основоположником так называемого символизма». Талант По такой щедрый, что небрежно разбросал зерна новых идей и художественных форм, как будто не замечая собственного новаторства и в поэзии, и в прозе.

Своей судьбой и творчеством По был близок к «проклятым поэтам», во многом предшествовавший этим французским художникам. Не случайно на родине Рембо, Верлена его пылким и талантливым популяризатором стал Шарль Бодлер, во Франции По поняли глубже и тоньше, чем на родине. Известная статья Бодлера, посвященная американскому писателю, сохранила свое значение и до наших дней как одна из наиболее вдумчиво и хорошо написанных работ о По. Здесь, конечно, оказалась, если прибегнуть к высказыванию Гете, *Wahlverwandschaft*, родство избранных.

И в изобразительном искусстве Франции ощутимо влияние пластичной поэзии и прозы По, в частности в картинах символистов Гюстава Моро или Одилона Редона, самых причудливых художников прошлого столетия. Однако это отдельная тема, требующая серьезного изучения.

До последнего времени в работах российских исследователей подчеркивалось, что символисты и декаденты мифологизировали фигуру и творчество По, видели в нем только то, что хотели видеть. И если американские современники негативно относились к писателю за его «демонизм», тот же демонизм автора «Ворона» захватывал Бодлера, Брюсова и Бальмонта. Это так. Творчеству По действительно присущ определенный демонизм, хотя символисты и преувеличивали значение этого своеобразного байронизма американского писателя. Они были довольно односторонние, оставляли без внимания другие важные приметы литературной деятельности поэта, в частности его ироничный критицизм и юмор, забывали о его новаторстве в создании литературных жанров и т. д.

Говоря о неоромантиках, отмечали, что их связи с По очевидны и многочисленны. Кроме лежащих на поверхности – склонности к экзотике дальних стран, драматическим путешествиям (особенно морским), описаниям загадочных природных явлений и катаклизмов, созданию трагически обостренного конфликта между героем и обществом – важен сам выбор героя – одинокого, загадочного, психологически сложного, часто действительно демонического. И борьба в душе этого героя добра и зла, большой духовности, таланта и мерзких грехов извращений – тоже близки к подобным конфликтам в сознании героя многих рассказов По. Неоромантическая замороженность смертью, преступлением, таинственностью – тесно связаны с романтизмом американского писателя. Конечно, герои и неоромантиков, и По имеют общих предков – героев Байрона. Все они как будто одна семья, представленная несколькими поколениями.

И каждое поколение вносит свои черты и передает их следующим. «Гены» По оказались очень сильными и передались многим из тех, кто творил после него.

Среди реалистов, которые учились у По, первым нужно назвать Марка Твена. Его юмористические и сатирические рассказы по стилю и приемам часто близки к прозе По подобной окраски. Твену гротескные преувеличения, накопления гипербола, избыточность подробностей, определенная грубоватость тона, особенно в ранних произведениях, как и склонность разворачивать действие поздних повестей на фоне условно-европейских декораций с «немецким» колоритом – все это напоминает отличительные черты повествовательной манеры автора «Без дыхания» или «Черта на колокольне». Перекликаются и определенные характерные образы обоих писателей. Например, на дьявола По похож твеновский соблазнитель обывателей города Гедлиберг или мистически ужасный «Таинственный незнакомец». И это лишь некоторые черты родства Марка Твена с его талантливым предшественником.

Родство существует между Эдгаром По и таким самобытным художником-реалистом следующего поколения, как Анатолий Франс. Кроме восхищения историческими и географическими реалиями, красочными, экзотическими, живописными, редкими вещами, подробностями быта, архитектурными деталями и т. д. их сближает огромная эрудиция, глубокое знание мировой культуры. Блестящее филологическое образование, владение классическими и современными языками, широкая осведомленность с трудами историков, философов, географов, отличная память на имена и факты, ссылки на строки поэтических и прозаических произведений авторов из разных эпох и стран – все это делает тексты обоих писателей до краев насыщенными сложной культурной информацией. Далеко не каждый современный читатель, даже ученый-специалист, может полностью понять мысль или образ По или Франса, не обращаясь к комментариям или примечаниям. Десятилетия невнимания к классическому филологическому образованию сделали нас беспомощными без обращения к научному аппарату. Надо, однако, признать, что обоим писателям свойственно определенное хвастовство собственной эрудицией, легкий научный снобизм, который составляет своеобразную примету их письма, особенность стиля. И в наше время в этом у них есть продолжатели – вспомним хотя бы Карпентьера или автора романа «Имя розы» Умберто Эко, не говоря уже о Джеймсе Джойсе.

Воспользуемся, кроме приведенных выше, еще одним сюжетно-образным примером. Одна из самых характерных для романтиков тем – тема двойников – от Гофмана перейдет к По, оригинально воплотившись в «Лигейе», «Вильяме Вильсоне» и других произведениях, а впоследствии отзовется у Стивенсона («Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»). Или у Оскара Уайльда в его «Портрете Дориана Грея», где так много перекличек хотя бы с тем же «Вильямом Вильсоном» (вплоть до гибели героя и его двойника – воплощение лучшего «я» героя – в один и тот же день и при слишком схожих обстоятельствах).

Есть у По небольшой ранний рассказ – исторический анекдот «На стенах иерусалимских», – стилизованный под библейский текст. Его начало звучит той же торжественной медью, что и прославленные первые строки раздела о Иешуа в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Впервые рассказ американского писателя появился на русском языке 1885 г. в книге «Э. По. Повести, рассказы, критические этюды и мысли» под названием «Случай в Иерусалиме», и, кто знает, возможно, именно эта стилизация была толчком к стилистическим искажениям великого киевлянина Булгакова, тем более, что По он знал и любил.

«Логические рассказы», как он их сам называл, Эдгара По были первой ласточкой жанра, который в нашем столетии приобрел неслыханную популярность. Имеется в виду классический «детектив» в форме повествования, повести или романа. Прославленные его мастера и мастерицы, например Артур Конан Дойл, Агата Кристи, Жорж Сименон, плодотворно учились у американского писателя. У автора «Убийств на улице Морг», «Тайны Мари Роже», «Золотого жука», «Это ты!», «Похищенного письма» они нашли почти все основные принципы жанра, которые использовали при написании своих произведений. Главный среди них –

принцип дедуктивного мышления. Это умение прославленных детективов, чьи имена в наше время стали нарицательными, из наблюдений делать убедительные выводы, опираясь на огромный жизненный опыт, на знание человеческой психологии и типов человеческого поведения, в основном социально обусловленных, глубокие познания в различных, иногда очень специфических областях науки. Созданный воображением Эдгара По следователь Дюпен – бесспорно литературный отец Шерлока Холмса. Эти герои имеют массу общих черт. Первый – блестящий математик, второй – химик. Работа с точными науками делает их логику неопровержимой. Сухое и точное мышление захватывает их, как высокое искусство. И эта увлеченность процессом мышления, приключениями аналитической мысли передается читателю: дает ему особое наслаждение, подобную радости от решения сложной загадки или от умственной игры – шахмат, бриджа и т. д. Оба героя отшельники, в чем-то чудаки, оба нуждаются в компаньонах, которым поверяют свои мысли, а компаньоны становятся летописцами их гениальных расследований. В рассказчике из «Убийств на улице Морг» или «Похищенного письма», как в зернышке, заложены основные черты благородного и наивного доктора Ватсона. Дюпен и Холмс во всем превосходят ограниченных полицейских ищек и не без злости доказывают им свое умственное превосходство.

Эркюль Пуаро и мисс Марпл, на первый взгляд, сильно отличаются от Дюпена. Бельгийский полицейский в отставке или старая дева из провинции, конечно, ни привычками, ни поведением не напоминают романтического аристократа Дюпена. Но по оригинальным чертам двух детективов, а также парижского комиссара полиции Мегре, по их своеобразным забавным или трогательным странностям, нельзя не заметить присущих Дюпену железной логики, поразительной наблюдательности, блеска аналитического ума, виртуозного умения делать безупречные выводы из, казалось бы, никак между собой не связанных фактов и фактиков. Все они психологи, и хотя у Дюпена высоконучные рассуждения о человеческой душе отличаются от доморощенных аналогий, которые помогают мисс Марпл разобраться в самых запутанных преступлениях, у них, в итоге, одинаковый характер и одинаковые действия.

Основатель мировой династии детективов Дюпен остался непревзойденным по своей изящной интеллектуальности. Может, ближайшим к нему по склонности к философским обобщениям и изысканным парадоксам есть еще один оригинал – детектив патер Браун Честертона. Другие же лишены алмазного блеска его интеллекта, романтичности и загадочности, что, однако, не делает их менее популярными у читателей.

Все сказанное отнюдь не полностью освещает значение творчества Эдгара По для мировой литературы, но по крайней мере определяет его место в этой области культуры. Сокровищница поэзии и прозы американского гения богата и щедра, из нее, как из сказочного неисчерпаемого сундука, можно смело черпать, занимать, не боясь, что увидишь дно. Наоборот, с годами и десятилетиями она кажется еще более полной, еще богаче блестящими идеями, прозрениями тайн мира и человеческой души, вдохновенным озарением, художественными открытиями. Большой романтик остается живым классиком, которому есть что сказать все новым и новым поколениям читателей всего мира.

Кира Шахова

Метценгерштейн

*Pestis eram vivus – moriens tua mors ero*¹.

Мартин Лютер

Ужас и рок во все века блуждали по свету. Зачем поэтому обозначать время, к которому относится мой рассказ? Будет достаточно, если я скажу, что в глубине Венгрии существовала незыблемая, хотя и скрываемая, вера в учение о переселении душ. Я не стану распространяться о самом учении, т. е. о его ложности или вероятности, однако утверждаю, что очень значительная часть нашего недоверия, по выражению Лабрюйера, о всех наших несчастьях «vient de ne pouvoir être seule» (*происходит от того, что мы не можем оставаться одни*).

Однако в венгерском суеверии были некоторые пункты, которые быстро перерождались в нелепость. Они, т. е. венгры, расходились очень во многом с восточными авторитетами. Так, например: «Душа, – говорят первые (я привожу слова очень остроумного и умного парижанина), – живет только один раз в осязаемом теле, будь то лошадь, собака, даже человек, впрочем, разница между ними не так уж велика».

Фамилии Берлифитцинг и Метценгерштейн в продолжение многих столетий враждовали между собой. Не было, кажется, примеров такого взаимного озлобления между двумя другими столь знаменитыми семьями. Происхождение такой вражды, по-видимому, находим у пророка: «Страшное падение постигнет высокое имя, когда, подобно всаднику над лошадью, смертность Метценгерштейна восторжествует над бессмертием Берлифитцинга».

Без сомнения, эти слова сами по себе или вовсе не имеют смысла или весьма мало, но известно, что и еще более незначительные причины влекли за собой – и не в давние времена – последствия столь же значительные. К тому же, владения, которые были смежными, долгое время соперничали за влияние на правительство в управлении страной. Кроме того, близкие соседи редко бывают друзьями, и обитатели замка Берлифитцинга могли смотреть со своих высоких башен прямо в окна дворца Метценгерштейнов. Более чем феодальное великолепие, открывавшееся при этом, конечно, вовсе не способствовало смягчению чувства раздражения в менее древних и богатых Берлифитцингах. Стоит ли удивляться, что слов пророчества, хотя и бессмысленных самих по себе, было достаточно, чтобы возбудить и сохранить вражду между двумя семьями, уже подготовленными к ссоре подстрекателями наследственного соперничества? Пророчество как будто предсказывало, если вообще предсказывало что-нибудь, окончательное торжество могущественнейшему дому и поэтому вспоминалось, конечно, с ожесточением более слабым и менее влиятельным.

Вильгельм, граф Берлифитцинг, несмотря на свое высокое происхождение, был во время моего рассказа больным дряхлым стариком, ничем не замечательным, кроме безграничной антипатии к семье своего соперника и такой страстной любви к лошадям и охоте, что ни болезнь, ни старость, ни умственная слабость не могли помешать удержать его от ежедневного участия в опасных охотах. Фридрих же, барон Метценгерштейн, был еще несовершеннолетний. Отец его, министр Г., умер рано. Мать, баронесса Мария, сошла в могилу вскоре за ним. Фридриху в это время пошел восемнадцатый год. В городах восемнадцать лет еще не возраст, но в глуши, такой полной глуши, какую представляло из себя старое дворянское гнездо, удары маятника имеют более глубокое значение.

В силу некоторых обстоятельств, связанных с распоряжением отца, молодой барон вступил во владение своими богатыми поместьями тотчас по смерти родителя. Редко кто из венгерских дворян владел такими богатствами. Замкам барона не было числа; но главным по

¹ Чумой я был при жизни; умирая, стану твоей смертью (*лат.*).

богатству и обширности считался замок Метценгерштейн. Границы его владений никогда не были точно определены, но главный парк имел пятьдесят миль в окружности. При известном характере молодого человека, получившего такое несметное наследство, почти не существовало сомнения в его будущем. И действительно, уже в первые три дня его подвиги превзошли ожидания его самых восторженных поклонников. Бесстыдный разгул, низкое предательство, неслыханные жестокости быстро показали трепещущим вассалам, что никакая рабская покорность с их стороны не в состоянии оградить их от когтей своенравного Калигулы, совершенно не знавшего совести. В ночь на четвертый день загорелись конюшни Берлифитцинга, и общее мнение внесло поджог в уже отвратительный список преступлений и гнусностей, совершенных молодым бароном.

Во время переполоха, вызванного этим происшествием, молодой человек сидел, по-видимому, погруженный в размышления в одной из больших пустынных зал родового дворца Метценгерштейна. На богатых, хотя и поблекших драпировках, угрюмо свешивавшихся со стены, были изображены туманные и величественные образы знаменитых предков молодого человека. Здесь – духовные особы в мантиях, богато опушенных горностаем, и в кардинальских шапках сидят рядом с властителями и суверенами, накладывают veto на желания земных королей или сдерживают именем папского всемогущества мятежный скипетр князя тьмы. Там – темные высокие фигуры князей Метценгерштейнских, топчущие конями тела павших врагов и способные своим свирепым видом подействовать на самые крепкие нервы. А еще дальше – роскошные лебединые фигуры дам давно прошедших времен, плывущие в призрачном танце под звуки воображаемой музыки.

Прислушиваясь или делая вид, что прислушивается к все возраставшему шуму в берлифитцингских конюшнях, или, может быть, обдумывая какую-нибудь новую, еще более дерзкую проделку, барон не отводил глаз от огромного коня диковинной масти, изображенного на обоях и принадлежавшего якобы сарацину – родоначальнику враждебного рода. Сам конь на переднем плане стоял неподвижно, подобно статуе, между тем как позади него выбитый из седла седок погибал от кинжала Метценгерштейна.

На губах Фридриха появилась злобная улыбка, когда он заметил, по какому направлению смотрели бессознательно его глаза. Однако он не отвел их. Притом он никак не мог отдать себе отчета в каком-то беспокойстве, охватившем его и сковавшем все его чувства. С трудом он мог согласовать свое полусонное, почти бессознательное состояние с уверенностью, что все это наяву. Но чем больше он смотрел, тем сильнее его охватывало очарование, тем невозможнее казалось ему оторвать когда-нибудь глаза от изображения. Между тем шум снаружи усиливался, и барон наконец с неимоверным усилием обратил свое внимание на багровый отсвет горящих конюшен, падавший в окна его комнаты.

Но это было только минутное движение, его внимание снова машинально вернулось к стене. И вдруг, к его крайнему ужасу и изумлению, голова гигантского коня переменяла положение. Шея животного перед тем нагнутая как бы с сожалением над раненым хозяином, теперь вытянулась во всю длину по направлению к барону. Глаза, невидимые до того, смотрели теперь с энергическим человеческим выражением, горя необычайным красным огнем, а между раскрытыми губами, видимо, взбесившегося животного выступали его сгнившие, отвратительные зубы.

Молодой магнат в ужасе, шатаясь, направился к двери. Когда он отворил ее, на него пахнуло, проникая далеко в комнату, красное пламя, отражение которого осветило колыхавшиеся обои, и барон вздрогнул, заметив, что оно озарило как раз изображение беспощадного торжествующего убийцы сарацина Берлифитцинга.

Чтобы разогнать напавший на него страх, барон поспешил на свежий воздух. У парадного входа он встретил трех конюхов. С большим трудом и рискуя жизнью, они сдерживали судорожно вырывавшегося и вздымавшегося на дыбы огненно-рыжего коня.

– Чья лошадь? Откуда? – спросил сварливым, сердитым тоном юноша, заметивший сразу это изумительное сходство между таинственным конем на обоях и этим бешеным животным.

– Она ваша, господин, – отвечал один из конюхов, – по крайней мере, никто не заявлял о ней. Мы поймали ее всю в пене и мыле, когда она бешено мчалась от горевших конюшен замка Берлифитцинга. Предполагая, что это одна из заводских лошадей старого графа, мы отвели ее назад. Но конюхи отrekliсь от нее, и это очень странно, потому что она, видимо, еле выбежала из огня.

– На лбу ясно видны выжженные буквы В. Ф. Б., – перебил другой конюх. – Я предполагал, конечно, что эти начальные буквы значат «Вильгельм фон Берлифитцинг», но в замке все уверяют, что лошадь не их.

– Странно! – проговорил барон задумчиво, очевидно, не сознавая своих слов. – Правда, замечательный, удивительный конь! И видно, действительно, пугливый, неукротимый. Ну, пусть будет моим, – заключил он после паузы, – может быть, такому наезднику, как Фридрих фон Метценгерштейн, удастся укротить самого черта из конюшен Берлифитцинга.

– Нет, господин, вы ошибаетесь; мы ведь докладывали вам, что конь не из берлифитцингской конюшни. Будь он оттуда, не осмелились бы мы представить его кому-либо из вашей семьи.

– Правда! – сухо согласился барон.

И в эту самую минуту из замка выбежал, весь раскрасневшись, постельничий. Он шепнул на ухо барону о внезапном исчезновении куска обоев в одной из комнат и принялся сообщать какие-то подробности. Несмотря на пониженный голос, которым он говорил, ничто не скрылось от возбужденного любопытства конюхов.

Во время этого разговора Фридриха, по-видимому, волновали различные чувства. Однако он скоро овладел собой, и лицо его приняло выражение злобной решимости, когда он приказал немедленно запереть на замок комнату, а ключ отдать ему.

– А слышали вы о несчастье со старым охотником Берлифитцинга? – спросил один из слуг барона, когда, после ухода постельничего, огромный конь, признанный бароном своею собственностью, поскакал с удвоенным бешенством по аллее, которая вела от замка к конюшням Метценгерштейна.

– Нет, – отвечал барон, резко поворачиваясь к говорившему. – Ты говоришь, несчастье?

– Он умер, господин. Думаю, для вас, как члена вашей семьи, известие не самое печальное.

Усмешка скользнула по лицу слушателя.

– Как он умер?

– Стараясь спасти своих любимых лошадей, он сам погиб в огне.

– Вот ка-а-к! – протянул юноша спокойно и вернулся, как ни в чем не бывало, в замок.

С этого дня в поведении распутного барона Фридриха фон Метценгерштейна произошла замечательная перемена. Он, в самом деле, разочаровал ожидание многих маменек, имевших на него вид; а в своих привычках и образе жизни еще больше чем прежде стал расходиться с жизнью соседней аристократии. Он никогда не переступал за пределы своего поместья и жил совершенно одиноко. Разве только таинственный бешеный рыжий конь, на котором он начал постоянно ездить, мог иметь некоторое право называться его другом.

Однако барон получал многочисленные приглашения от соседей.

– «Не почтит ли барон праздник своим присутствием?» – «Не примет ли барон участие в охоте на кабана?»

– «Метценгерштейн не охотится». – «Метценгерштейн не может быть», – гласили лаконичные ответы.

С такими постоянными оскорблениями высокомерная аристократия не могла примириться. Приглашения стали реже и менее любезны и наконец совершенно прекратились. Вдова

умершего графа Берлифитцинга даже высказала надежду, «что барон будет дома, когда не захочет быть дома, если он пренебрегает обществом равных себе; и будет ездить, когда не захочет, если предпочитает общество своей лошади».

Это, конечно, была вспышка наследственной неприязни и доказывала только, какую бессмыслицу мы в состоянии сказать, желая проявить особенную энергию.

Люди же более снисходительные приписывали перемену в образе жизни барона естественной печали о безвременно погибших родителях, забывая его жестокости и распутство в короткий период, непосредственно следовавший за этим грустным событием. Нашлись и такие, которые приписывали это чересчур развитому самолюбию и гордости. Третьи, между которыми следует упомянуть семью доктора, наконец, намекали на черную меланхолию и нездоровую наследственность; вообще темные слухи подобного рода ходили в обществе.

В самом деле, неестественная привязанность барона к новому приобретению – привязанность, как будто усиливавшаяся с каждой новой вспышкой бешеных наклонностей дьявольского животного, – начала принимать в глазах всех благоразумных людей отвратительный и неестественный характер. В полуденный зной, в глухую ночную пору, здоровый или больной, в тихую погоду или бурю молодой Метценгерштейн казался прикованным к седлу гигантского коня, неукротимый нрав которого так подходил к его собственному характеру.

Но были обстоятельства, которые в связи с событиями последнего времени придали сверхъестественный и чудовищный характер мании наездника и свойствам коня. Скачки коня тщательно измерялись, и оказалось, что они превзошли даже самые невероятные предположения. Кроме того, барон не дал имени животному, хотя все прочие лошади его конюшни имели имена, характеризовавшие их. Конюшня коня находилась в отдалении от прочих, а что касается конюхов и прочей прислуги, то никто не смел ухаживать за ним или подходить к его стойлу. Ходил за ним сам барон. И даже из тех трех конюхов, которым удалось с помощью узды и аркана из цепи задержать его во время бешеной скачки из Берлифитцинга, ни один не мог сказать, чтоб он действительно коснулся рукой тела животного. Проявление особенного ума в лошади не возбуждали, конечно, особенного внимания; но были обстоятельства, которые невольно бросались в глаза самым флегматичным скептикам, а бывали случаи, когда толпа зевак в ужасе кидалась прочь перед его загадочными порывами, и даже сам Метценгерштейн бледнел и отступал перед пытливым пристальным выражением его человеческого взгляда.

Между всеми окружающими барона никто не сомневался в необыкновенной горячей привязанности молодого дворянина к бешеному коню, никто, кроме одного незначительного и уродливого пажа, безобразия которого всем мозолило глаза и мнение которого, конечно, не имело ни малейшего значения. Он имел смелость, если вообще смел иметь какое-либо мнение, утверждать, что его господин никогда не садится в седло без невольной, хотя почти незаметной дрожи и что каждый раз, по возвращении из продолжительной прогулки верхом, каждый мускул лица его дрожит от злого торжества.

Однажды ненастной ночью Метценгерштейн, проснувшись от тяжелой полудремоты, выбежал как сумасшедший из комнаты и, вскочив на коня, помчался в лес. Такое обычное событие не привлекло ничьего особенного внимания, но слуги ожидали с беспокойством его возвращения, как вдруг, после нескольких часов его отсутствия, неожиданный пожар отхватил все роскошные здания замка, с треском проникая в самые основания их.

Так как пламя, когда его заметили, уже так распространилось, что попытки спасти какую-либо часть здания были, очевидно, бесполезны, то испуганные соседи стояли кругом, ничего не предпринимая и молча смотря на пылающий огонь. Но скоро новое ужасное зрелище привлекло внимание толпы и доказало, насколько сильнее впечатление, производимое видом человеческого страдания, чем самых ужасных зрелищ разгула стихии.

По длинной аллее из старых дубов, ведущей от леса к главному выезду замка Метценгерштейн, скакал, точно гонимый самим демоном бури, конь с всадником без шляпы и в растерзанной одежде.

Ясно было, что всадник уже не в состоянии управлять конем. Искажённое лицо и судорожные движения показывали сверхъестественные усилия; но всего только один крик вырвался из губ, сжатых ужасом. Минута – и резкий стук копыт заглушил рев пламени и свист ветра; другая – и, перемахнув одним прыжком через площадку, конь взлетел на качающиеся ступени лестницы замка и исчез с всадником в вихре бушующего пламени.

Буря моментально стихла, и наступила мертвая тишина. Белесое пламя, будто саван, все еще обволакивало здание и, высоко поднимаясь в спокойном воздухе, распространяло сверхъестественный свет, между тем как облако дыма тяжело повисло над строениями, приняв явственные очертания гигантской фигуры.

Береника

*Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas
aliquantulum fore levatas².*

Саади

Бывают различные несчастья. Земное горе разнородно; господствуя над обширным горизонтом, как радуга, цвета человеческого страдания так же различны и точно так же слиты, и оно точно так же царит над обширным горизонтом жизни.

Я могу рассказать ужасную историю и охотно умолчал бы о ней, если бы это была хроника чувств, а не фактов.

Мое имя Эгеус, фамилию же свою я не скажу. Нет в стране замка более славного, более древнего, как мое унылое, старинное, наследственное жилище. С давних времен род наш считался ясновидящим, и действительно, из многих поразительных мелочей, из характера постройки нашего замка, из фресок нашей гостиной, из обоев спальни, из лепной работы пилястров оружейной залы, но преимущественно из галереи старинных картин, из внешнего вида библиотеки и, наконец, из характера книг этой библиотеки можно было вывести заключение, подтверждающее это мнение.

Воспоминания первых лет моей жизни связаны с библиотечной залой и ее книгами. Там умерла моя мать; там родился я. Но странно было бы сказать, что я не жил прежде, что у души нет предыдущего существования... Вы не согласны? Не станем об этом спорить. Я же в этом убежден и потому не стану убеждать вас. В человеческой душе живет какое-то воспоминание о призрачных формах, о воображаемых глазах, о мелодических, но грустных звуках, воспоминание, не покидающее нас, – воспоминание, похожее на тень, смутное, изменчивое, неопределенное, трепещущее; и от этой тени мне трудно будет отделаться, пока будет светить хоть один луч моего разума.

В этой комнате я родился, в этой комнате я провел среди книг мое детство и потратил юность в мечтах. Жизненная действительность поражала меня, как видения и только как видения, тогда как безумные мысли мира фантазий составляли не только пищу для моего повседневного существования, но положительно и исключительно мою действительную жизнь.

Береника была моей двоюродной сестрой, и мы выросли вместе в отцовском замке. Но мы росли совершенно по-разному: я – болезненным и вечно преданным меланхолии; она – живой, грациозной и полной энергии; ее дело было бегать по холмам, мое – корпеть над книгами. Я жил сам в себе душой, предаваясь самым упорным и трудным размышлениям, она же беззаботно встречала жизнь, не заботясь ни о тенях на своем пути, ни о молчаливом полете времени с его черными крыльями. Береника! При ее имени черные тени восстают в моей памяти. Образ ее стоит, как живой, передо мною – такой, какой она была в первые дни своего счастья и веселья. Как была она фантастично хороша! А потом, потом наступил полный ужас и мрак и свершилось нечто, неподдающееся рассказу. Болезнь, страшная болезнь обрушилась на нее и на глазах моих изменила ее так, что трудно было узнать ее. Увы, болезнь отходила и снова подходила, но прежняя Береника уже не возвращалась! Настоящую Беренику я не знал или, по крайней мере, не признавал ее за Беренику.

Главные страдания кузины моей заключались в эпилепсии, которая часто заканчивалась летаргией, похожей на смерть, от которой она просыпалась совершенно внезапно. Между тем и моя болезнь, – мне сказали, что это не что иное, как болезнь, – быстро развивалась, усили-

² Мне говорили братья, что, если я навещу могилу подруги, горе мое исцелится (лат.).

ваясь от неумеренного употребления опиума, и наконец приняла характер какой-то странной мономании. С часу на час, с минуты на минуту болезнь действовала энергичнее и наконец совершенно подчинила меня своей власти. Эта мономания заключалась в страшной раздражительности умственных способностей, которую можно определить раздражительностью способностей внимания. Очень может быть, что вы меня не понимаете, и я боюсь, что не буду в состоянии дать вам точного понятия той нервной напряженности, с какой мысль углубляется в созерцание самых обыденных в мире вещей.

Моим постоянным занятием было: думать без устали, по целым часам, над какой-нибудь беглой заметкой на полях книги или над фразой в книге; задумчиво смотреть в продолжение целого долгого летнего дня на причудливые тени, стелющиеся по стенам; забываться по целым ночам, наблюдая прямое пламя лампы или пламя углей в камине; мечтать по целым дням над запахом цветка; монотонно повторять какие-нибудь обыкновенные слова до тех пор, пока звук от повторения перестанет занимать мысли; в полном, упорно сохраняемом покое забывать всякое чувство движения и физического существования.

Мысли мои в такие минуты никогда не переходили на другие предметы, а упорно вертелись около своего центра. Человеку невнимательному покажется очень естественным, что страшная перемена в нравственном существовании Береники, вследствие ее страшной болезни, должна бы была послужить предметом моей задумчивости. Но ничуть не бывало. В светлые минуты несчастье ее, правда, меня огорчало, я думал с грустью о страшной перемене, происшедшей в ней. Но эти мысли не имели ничего общего с моей наследственной болезнью. Болезнь моя питалась не такой переменной, а переменной физической, страшно изменявшей Беренику.

Во дни ее поразительной красоты, можно сказать наверное, я не любил ее. Чувства мои никогда не шли из сердца, а всегда из головы. Береника являлась мне не настоящей Береникой, а Береникой моих мечтаний, не земным, а абстрактным существом. Теперь же я дрожал в ее присутствии, бледнел при ее приближении; горя о ее гибели, я все-таки помнил, что она давно любила меня, и когда-то в грустную минуту заговорил с нею о браке.

День, назначенный для нашей свадьбы, приближался. Однажды после обеда я сидел в библиотеке; я думал, что в комнате нет никого, кроме меня, но, подняв глаза, увидел стоявшую передо мною Беренику.

Она казалась мне какой-то призрачной и высокой. Я молча откинулся на спинку кресла; она стояла тоже молча. Худоба ее была ужасна; в ней не осталось ничего от прежней Береники. Наконец взор мой упал на ее лицо.

Когда-то черные волосы теперь стали светлыми, а мутные и поблекшие глаза казались без ресниц. Я взглянул на губы. Они раскрылись особенной улыбкой, и взору моему представились зубы новой Береники. Лучше бы мне никогда не видеть их или, увидав, лучше бы умереть!

Скрип двери пробудил меня; подняв глаза, я увидел, что кухни в комнате нет. Но белый и страшный призрак ее зубов не покидал и не хотел покинуть комнаты. На поверхности их не было ни точки, ни эмали, ни пятнышка. Мимолетной улыбки достаточно было, чтобы они врезались мне в память. И потом я их видел так же ясно, как и прежде, видел даже яснее, чем прежде. Зубы эти являлись и тут, и там, и везде: длинные, узкие и необыкновенно белые, с бледными губами, натянутыми вокруг так, как они никогда не бывали прежде. Затем наступил полный припадок моей мономании, и я тщетно боролся против ее непреодолимого и странного влияния. В бесконечном числе предметов внешнего мира я только и думал, что о зубах. Я чувствовал к ним страстное желание. Все окружающее было поглощено мыслью о зубах. Они сделались для меня источником жизни. Я изучал их, и мне казалось, что зубы Береники – это идеи. И эта безумная мысль погубила меня. Вот потому-то я так страстно и стремился к ним! Я чувствовал, что только обладание ими может возратить мне рассудок.

Дни проходили один за другим, а я все сидел в своей комнате с призраком зубов. Но как-то раз, во время моей задумчивости, раздался внезапно крик ужаса, и, спустя немного, я услышал рыдания и вздохи. Я встал, отворил дверь и увидел горничную, которая сообщила мне, что Береника умерла и что могила ее уже ждет.

С сердцем, замирающим от страха и отвращения, я отправился в спальню покойницы. Комната была большая, мрачная; на каждом шагу я натыкался на приготовления к похоронам. «Гроб, – сказал мне слуга, – стоит за занавескою на кровати, и Береника лежит в гробу».

Кто-то спросил меня, хочу ли я видеть покойницу? Я не заметил, чтобы чьи-нибудь уста шевелились, а между тем вопрос был задан, и отголосок последних слов еще раздавался в комнате. Отказаться было невозможно, и с чувством какой-то подавленности я направился к постели. Я тихо поднял темные занавеси, и, когда опустил их, они упали мне на плечи, и отделили меня от живого мира, и заперли меня с покойницей.

В комнате пахло смертью; особенный запах от гроба вызывал во мне дурноту, и мне казалось, что от тела отделяется уже запах разложения. Я бы отдал все на свете, чтобы бежать от этого страшного влияния смерти, чтобы еще раздохнуть воздухом под чистым небом. Но у меня не было сил шевельнуться, колени тряслись, я точно прирос к полу и пристально смотрел на вытянутый в гробу труп.

Господи! Может ли это быть? Неужели у меня помутилась голова? Или покойница действительно пошевелила пальцем под саваном? Дрожа от страха, я тихо поднял глаза, чтобы взглянуть на лицо покойницы. Носовой платок, которым была привязана челюсть, развязался. Бледные губы улыбались, и из-за них смотрели на меня белые, блестящие, ужасные зубы Береники. Я судорожно отскочил от постели и, не говоря ни слова, как безумный, бросился вон из этой страшной комнаты смерти.

Я очутился в библиотеке и сидел в ней один. Мне казалось, что я пробудился от какого-то ужасного, смутного сна. Была полночь. Я распорядился, чтобы Беренику похоронили до заката солнца; но я не сохранил точного воспоминания о том, что делалось в это время. А между тем мне припоминалось что-то ужасное, что-то смутное и потому более ужасное; оно походило на какую-то страшную страницу моего существования, написанную темными воспоминаниями, ужасными и неразборчивыми. Я старался разобрать их, но не мог. Между тем по временам в ушах моих раздавался звук, похожий на пронзительный крик женщины. Точно я совершил что-то. Я громко спрашивал себя: «что такое?» и эхо комнаты отвечало мне: что такое?..

На столе подле меня горела лампа, а возле нее стоял ящичек из черного дерева. Ящик был очень обыкновенный, и я часто видел его: он принадлежал нашему семейному доктору. Но как он попал ко мне на стол? Почему я дрожал при виде его?.. Взор мой упал наконец на страницы открытой книги и остановился на одной подчеркнутой фразе. Это были странные, но простые слова поэта Саади: *Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas.* – Отчего от этих слов волосы мои становятся дыбом, и кровь застывает в жилах?

В дверь библиотеки кто-то тихо постучал, и ко мне на цыпочках вошел слуга, бледный как мертвец. Глаза его блуждали от ужаса, и он заговорил со мною тихим, дрожащим, глухим голосом. Что говорил он мне? Я понял только некоторые фразы. Кажется, он рассказывал, что ночью в замке слышали страшный крик, что вся прислуга собралась и побежала на крики. Тут голос его стал ясен; он говорил о поругании могилы, об обезображенном трупе, вынутым из гроба, – трупе еще дышавшем, еще вздрагивавшем, еще живом!

Он взглянул на мою одежду; она была выпачкана грязью и кровью. Не говоря ни слова, он взял меня за руку; на ней оказались следы от ногтей человеческих. Он обратил мое внимание на предмет, приставленный к стене. Я посмотрел: то был заступ. Вскрикнув, я бросился к ящику из черного дерева. Но у меня не доставало силы открыть его; он, выскользнув у меня из

рук, тяжело упал па пол и разлетелся вдребезги. Звения, выскочили из него несколько инструментов для дерганья зубов, и вместе с ними рассыпались по всему полу тридцать два белых маленьких кусочка, похожих на кость.

Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфаала

*Мечтам безумным сердца
Я властелин отныне,
С горящим копьем
и воздушным конем
Считаюсь я в пустыне.*

Песня Тома из Бедлама³

Согласно последним известиям, полученным из Роттердама, в этом городе представители научно-философской мысли охвачены сильнейшим волнением. Там произошло нечто столь неожиданное, столь новое, столь несогласное с установившимися взглядами, что в непродолжительном времени – я в этом не сомневаюсь – будет взбудоражена вся Европа, естествоиспытатели всполошатся и в среде астрономов и натуралистов начнется смятение, невиданное до сих пор.

Произошло следующее. Такого-то числа и такого-то месяца (я не могу сообщить точной даты) огромная толпа почему-то собралась на Биржевой площади благоустроенного города Роттердама. День был теплый – совсем не по времени года, – без малейшего ветерка; и благодушное настроение толпы ничуть не омрачалось оттого, что иногда ее спрыскивал мгновенный легкий дождичек из огромных белых облаков, в изобилии разбросанных по голубому небу своду. Тем не менее около полудня в толпе почувствовалось легкое, но необычайное беспокойство: десять тысяч языков забормотали разом; спустя мгновение десять тысяч трубок, словно по приказу, вылетели из десяти тысяч ртов, и продолжительный, громкий, дикий вопль, который можно сравнить только с ревом Ниагары, раскатился по улицам и окрестностям Роттердама.

Причина этой суматохи вскоре выяснилась. Из-за резко очерченной массы огромного облака медленно выступил и обрисовался на ясной лазури какой-то странный, весьма пестрый, но, по-видимому, плотный предмет такой курьезной формы и из такого замысловатого материала, что толпа крепкоголовых бюргеров, стоявшая внизу разинув рты, могла только дивиться, ничего не понимая. Что же это такое? Ради всех чертей роттердамских, что бы это могло означать? Никто не знал, никто даже вообразить не мог, никто – даже сам бургомистр мингер Супербус ван Ундердук – не обладал ключом к этой тайне; и так как ничего более разумного нельзя было придумать, то в конце концов каждый из бюргеров сунул трубку обратно в угол рта и, не спуская глаз с загадочного явления, выпустил клуб дыма, приостановился, переступил с ноги на ногу, значительно хмыкнул – затем снова переступил с ноги на ногу, хмыкнул, приостановился и выпустил клуб дыма.

Тем временем объект столь усиленного любопытства и причина столь многочисленных затыжек спускался все ниже и ниже над этим прекрасным городом. Через несколько минут его можно было рассмотреть в подробностях. Казалось, это был... нет, это действительно был воздушный шар; но, без сомнения, такого шара еще не видывали в Роттердаме. Кто же, позвольте вас спросить, слышал когда-нибудь о воздушном шаре, склеенном из старых газет? В Голландии – никто, могу вас уверить; тем не менее в настоящую минуту под самым носом у собравшихся, или, точнее сказать, над носом, колыхалась на некоторой высоте именно эта самая штука, сделанная, по сообщению вполне авторитетного лица, из упомянутого материала,

³ Из книги И. Дизраэли «Выдающиеся памятники литературы».

как всем известно, никогда дотоле не употреблявшегося для подобных целей, и этим наносилось жестокое оскорбление здравому смыслу роттердамских бюргеров. Форма «шара» оказалась еще обиднее. Он имел вид огромного дурацкого колпака, опрокинутого верхушкой вниз. Это сходство ничуть не уменьшилось, когда, при более внимательном осмотре, толпа заметила огромную кисть, подвешенную к его заостренному концу, а вокруг верхнего края, или основания конуса, – ряд маленьких инструментов вроде бубенчиков, которые весело позванивали. Мало того, к этой фантастической машине была привешена вместо гондолы огромная темная касторовая шляпа с широчайшими полями и обвитая вокруг тульи черной лентой с серебряной пряжкой. Но странное дело: многие из роттердамских граждан готовы были побожиться, что им уже не раз случалось видеть эту самую шляпу, да и все сборище смотрело на нее, как на старую знакомую, а фрау Греттель Пфааль, испустив радостное восклицание, объявила, что это собственная шляпа ее дорогого муженька. Необходимо заметить, что лет пять тому назад Пфааль с тремя товарищами исчез из Роттердама самым неожиданным и необычным образом, и с тех пор не было о нем ни слуху ни духу. Позднее в глухом закоулке на восточной окраине города была обнаружена куча костей, по-видимому человеческих, вперемешку с какими-то странными тряпками и обломками, и некоторые из граждан даже вообразили, что здесь совершилось кровавое злодеяние, жертвой которого пали Ганс Пфааль и его товарищи. Но вернемся к происшествию.

Воздушный шар (так как это был несомненно воздушный шар) находился теперь на высоте какой-нибудь сотни футов, и публика могла свободно рассмотреть его пассажира. Правду сказать, это было очень странное создание. Рост его не превышал двух футов; но и при таком маленьком росте он легко мог потерять равновесие и кувыркнуться за борт своей удивительной гондолы, если бы не обруч, помещенный на высоте его груди и прикрепленный к шару веревками. Толщина человечка совершенно не соответствовала росту и придавала всей его фигуре чрезвычайно нелепый шарообразный вид. Ног его, разумеется, не было видно. Руки отличались громадными размерами. Седые волосы были собраны на затылке и заплетены в косу. У него был красный, непомерно длинный крючковатый нос, блестящие пронзительные глаза, морщинистые и вместе с тем пухлые щеки, но ни малейшего признака ушей где-либо на голове; странный старичок был одет в просторный атласный камзол небесно-голубого цвета и такого же цвета короткие панталоны в обтяжку, с серебряными пряжками у колен. Кроме того, на нем был жилет из какой-то ярко-желтой материи, мягкая белая шляпа, молодецкато сдвинутая набекрень, и кроваво-красный шелковый шейный платок, завязанный огромным бантом, концы которого франтовато спадали на грудь.

Когда оставалось, как уже сказано, каких-нибудь сто футов до земли, старичок внезапно засуетился, по-видимому не желая приближаться еще более к *terra firma*⁴. С большим усилием подняв полотняный мешок, он отсыпал из него немного песку, и шар на мгновение остановился в воздухе. Затем старичок торопливо вытащил из бокового кармана большую записную книжку в сафьяновом переплете и подозрительно взвесил в руке, глядя на нее с величайшим изумлением, очевидно, пораженный ее тяжестью. Потом открыл книжку и, достав из нее пакет, запечатанный сургучом и тщательно перевязанный красною тесемкой, бросил его прямо к ногам бургомистра Супербуса ван Ундердука. Его превосходительство нагнулся, чтобы поднять пакет. Но аэронавт, по-прежнему в сильнейшем волнении и, очевидно, считая свои дела в Роттердаме законченными, начал в ту самую минуту готовиться к отлету. Для этого потребовалось облегчить гондолу, и вот с полдюжины мешков, которые он выбросил, не потрудившись предварительно опорожнить их, один за другим шлепнулись на спину бургомистра и заставили этого сановника столько же раз перекувыркнуться на глазах у всего города. Не следует думать, однако, что великий Ундердук оставил безнаказанной наглую выходку старикашки. Напротив,

⁴ Твердой земле (*лат.*).

рассказывают, будто он, падая, каждый раз выпускал не менее полдюжины огромных и яростных клубов из своей трубки, которую все время крепко держал в зубах и намерен был держать (с божьей помощью) до последнего своего вздоха.

Тем временем воздушный шар взвился, точно жаворонок, на громадную высоту и вскоре, исчезнув за облаком, в точности похожим на то, из-за которого он так неожиданно выплыл, скрылся навеки от изумленных взоров добрых роттердамцев. Внимание всех устремилось теперь на письмо, падение которого и последовавшие затем происшествия оказались столь оскорбительными для персоны и персонального достоинства его превосходительства ван Ундердука. Тем не менее этот сановник во время своих коловращений не упускал из вида письмо, которое, как оказалось при ближайшем рассмотрении, попало в надлежащие руки, будучи адресовано ему и профессору Рубадубу как президенту и вице-президенту Роттердамского астрономического общества. Итак, названные сановники распечатали письмо тут же на месте и нашли в нем следующее необычное и весьма важное сообщение:

«Их превосходительствам господину ван Ундердуку и господину Рубадубу, президенту и вице-президенту Астрономического общества в городе Роттердаме.

Быть может, ваши превосходительства соизволят припомнить Ганса Пфааля, скромного ремесленника, занимавшегося починкой мехов для раздувания огня, который вместе с тремя другими обывателями исчез из города Роттердама около пяти лет тому назад при обстоятельствах, можно сказать, чрезвычайных. Как бы то ни было, с позволения ваших превосходительств, я, автор настоящего сообщения, и есть тот самый Ганс Пфааль. Большинству моих сограждан известно, что в течение сорока лет я занимал небольшой кирпичный дом в конце переулка, именуемого переулком Кислой Капусты, где проживал вплоть до дня моего исчезновения. Предки мои с незапамятных времен обитали там же, подвизаясь на том же почетном и весьма прибыльном поприще починки мехов для раздувания огня. Ибо, говоря откровенно, до последних лет, когда весь народ прямо помешался на политике, ни один честный роттердамский гражданин не мог бы пожелать или заслужить право на лучшую профессию. Я пользовался широким кредитом, в работе никогда не было недостатка – словом, и денег и заказов было вдоволь. Но, как я уже сказал, мы скоро почувствовали, к чему ведет пресловутая свобода, бесконечные речи, радикализм и тому подобные штуки. Людям, которые раньше являлись нашими лучшими клиентами, теперь некогда было и подумать о нас, грешных. Они только и знали, что читать о революциях, следить за успехами человеческой мысли и приспособливаться к духу времени. Если требовалось растопить очаг, огонь раздували газетой; я не сомневаюсь, что по мере того как правительство становилось слабее, железо и кожа выигрывали в прочности, так как в самое короткое время во всем Роттердаме не осталось и пары мехов, которые требовали бы помощи иглы или молотка. Словом, положение сделалось невыносимым. Вскоре я уже был беден как мышь, а надо было кормить жену и детей. В конце концов мне стало просто невтерпех, и я проводил целые часы, обдумывая, каким бы способом лишить себя жизни; но кредиторы не оставляли мне времени для размышлений. Мой дом буквально подвергался осаде с утра и до вечера. Трое заимодавцев особенно допекали меня, часами подстерегая у дверей и грозя судом. Я поклялся жестоко отомстить им, если только когда-нибудь они попадутся мне в лапы, и думаю, что лишь предвкушение этой мести помешало мне немедленно привести в исполнение мой план покончить с жизнью и раздробить себе череп выстрелом из мушкетона. Как бы то ни было, я счел за лучшее затаить свою злобу и умасливать их ласковыми словами и обещаниями, пока благоприятный оборот судьбы не предоставит мне случая для мести.

Однажды, ускользнув от них и чувствуя себя более чем когда-либо в угнетенном настроении, я бесцельно бродил по самым глухим улицам, пока не завернул случайно в лавочку буки-

ниста. Увидев стул, приготовленный для посетителей, я угрюмо опустился на него и машинально раскрыл первую попавшуюся книгу. Это оказался небольшой полемический трактат по теоретической астрономии, сочинение не то берлинского профессора Энке, не то француза с такой же фамилией. Я немножко маракую в астрономии и вскоре совершенно углубился в чтение; я прочел книгу дважды, прежде чем сообразил, где я и что я. Тем временем стемнело, и пора было идти домой. Но книжка (в связи с новым открытием по части пневматики, тайну которого сообщил мне недавно один мой родственник из Нанта) произвела на меня неизгладимое впечатление, и, блуждая по темным улицам, я размышлял о странных и не всегда понятных рассуждениях автора. Некоторые места особенно поразили мое воображение. Чем больше я раздумывал над ними, тем сильнее они занимали меня. Недостаточность моего образования и, в частности, отсутствие знаний по естественным наукам отнюдь не внушали мне недоверия к моей способности понять прочтенное или к тем смутным сведениям, которые явились результатом чтения, – все это только пуще разжигало мое воображение. Я был настолько безрассуден или настолько рассудителен, что спрашивал себя: точно ли нелепы фантастические идеи, возникающие в причудливых умах, и не обладают ли они в ряде случаев силой, реальностью и другими свойствами, присущими инстинкту или вдохновению?

Я пришел домой поздно и тотчас лег в постель. Но голова моя была слишком взбудоражена, и я целую ночь провел в размышлениях. Поднявшись спозаранку, я поспешил в книжную лавку и купил несколько трактатов по механике и практической астрономии, истратив на них всю имевшуюся у меня скудную наличность. Затем, благополучно вернувшись домой с приобретенными книгами, я стал посвящать чтению каждую свободную минуту и вскоре достиг знаний, которые считал достаточными для того, чтобы привести в исполнение план, внушенный мне дьяволом или моим добрым гением. В то же время я всеми силами старался умяснить трех кредиторов, столь жестоко донимавших меня. В конце концов я преуспел в этом, уплатив половину долга из денег, вырученных от продажи кое-каких домашних вещей, и обещав уплатить остальное, когда приведу в исполнение один проект, в осуществлении которого они (люди совершенно невежественные) согласились мне помочь.

Уладив таким образом свои дела, я при помощи жены и с соблюдением строжайшей тайны постарался сбыть свое остальное имущество и собрал порядочную сумму денег, занимая по мелочам, где придется, под разными предложениями и (со стыдом должен сознаться) не имея притом никаких надежд возратить эти долги в будущем. На деньги, добытые таким путем, я помаленьку накопил: очень тонкого кембрикового муслина, кусками по двенадцати ярдов каждый, веревок, каучукового лака, широкую и глубокую плетеную корзину, сделанную по заказу, и разных других материалов, необходимых для сооружения и оснастки воздушного шара огромных размеров. Изготовление шара я поручил жене, дав ей надлежащие указания, и просил окончить работу как можно скорее; сам же тем временем сплел сетку, снабдив ее обручами и крепкими веревками, и приобрел множество инструментов и материалов для опытов в верхних слоях атмосферы. Далее я перевез ночью в глухой закоулок на восточной окраине Роттердама пять бочек, обитых железными обручами, вместимостью в пятьдесят галлонов каждая, и шестую побольше, полдюжины жестяных труб в десять футов длиной и в три дюйма диаметром, запас особого металлического вещества, или полуметалла, название которого я не могу открыть, и двенадцать бутылей самой обыкновенной кислоты. Газа, получаемого с помощью этих материалов, еще никто, кроме меня, не добывал – или, по крайней мере, он никогда не применялся для подобной цели. Я могу только сообщить, что он является составной частью азота, так долго считавшегося неразложимым, и что плотность его в 37,4 раза меньше плотности водорода. Он не имеет вкуса, но обладает запахом; очищенный – горит зеленоватым пламенем и безусловно смертелен для всякого живого существа. Я мог бы описать его во всех подробностях, но, как уже наметнул выше, право на это открытие принадлежит по справедливости одному нантскому гражданину, который поделился со мною своей тайной на

известных условиях. Он же сообщил мне, ничего не зная о моих намерениях, способ изготовления воздушных шаров из кожи одного животного, сквозь которую газ почти не проникает. Я, однако, нашел этот способ слишком дорогим и решил, что в конце концов кембриковый муслин, покрытый слоем каучука, ничуть не хуже. Упоминаю об этом, так как считаю весьма возможным, что мой нантский родственник попытается сделать воздушный шар с помощью нового газа и материала, о котором я говорил выше, – и отнюдь не желаю отнимать у него честь столь замечательного открытия.

На тех местах, где во время наполнения шара должны были находиться бочки поменьше, я выкопал небольшие ямы, так что они образовали круг диаметром в двадцать пять футов. В центре этого круга была вырыта яма поглубже, над которой я намеревался поставить большую бочку. Затем я опустил в каждую из пяти маленьких ям ящик с порохом, по пятидесяти фунтов в каждом, а в большую – бочонок со ста пятьюдесятью фунтами пушечного пороха. Соединив бочонок и ящики подземными проводами и приспособив к одному из ящичков фитиль в четыре фута длиною, я прикрыл его бочкой, так что конец фитиля высывался из-под нее только на дюйм; потом засыпал остальные ямы и установил над ними бочки в надлежащем положении.

Кроме перечисленных выше приспособлений я припрятал в своей мастерской аппарат господина Гримма для сгущения атмосферного воздуха. Впрочем, эта машина, чтобы удовлетворить моим целям, потребовала значительных изменений. Но путем упорного труда и неутомимой настойчивости мне удалось преодолеть все эти трудности. Вскоре мой шар был готов. Он вмещал более сорока тысяч кубических футов газа и легко мог поднять меня, мои запасы и сто семьдесят пять фунтов балласта. Шар был покрыт тройным слоем лака, и я убедился, что кембриковый муслин ничуть не уступает шелку, так же прочен, но гораздо дешевле.

Когда все было готово, я взял со своей жены клятву хранить в тайне все мои действия с того дня, когда я в первый раз посетил книжную лавку; затем, обещав вернуться, как только позволят обстоятельства, я отдал ей оставшиеся у меня деньги и распростился с нею. Мне нечего было беспокоиться на ее счет. Моя жена, что называется, ловкая баба и сумеет прожить на свете без моей помощи. Говоря откровенно, мне сдается, что она всегда считала меня лентяем, дармоедом, способным только строить воздушные замки, и была очень рада отделаться от меня. Итак, простившись с ней в одну темную ночь, я захватил с собой в качестве адъютантов трех кредиторов, доставивших мне столько неприятностей, и мы потащили шар, корзину и прочие принадлежности окольным путем к месту отправки, где уже были заготовлены все остальные материалы. Все оказалось в порядке, и я немедленно приступил к делу.

Было первое апреля. Как я уже сказал, ночь стояла темная, на небе ни звездочки; моросил мелкий дождь, по милости которого мы чувствовали себя весьма скверно. Но хуже всего меня беспокоил шар, который, хотя и был покрыт лаком, однако сильно отяжелел от сырости; да и порох мог подмокнуть. Итак, я попросил моих трех кредиторов приняться за работу и как можно ретивее: толочь лед около большой бочки и размешивать кислоту в остальных. Однако они смертельно надоедали мне вопросами – к чему все эти приготовления, и страшно злились на тяжелую работу, которую я заставил их делать. Какой прок, говорили они, выйдет из того, что они промокнут до костей, принимая участие в таком ужасном колдовстве? Я начинал чувствовать себя очень неловко и работал изо всех сил, так как эти дураки, видимо, действительно вообразили, будто я заключил договор с дьяволом. Я ужасно боялся, что они совсем уйдут от меня. Как бы то ни было, я старался уговорить их, обещая расплатиться полностью, лишь только мы доведем мое предприятие до конца. Без сомнения, они по-своему истолковали эти слова, решив, что я должен получить изрядную сумму чистоганом; а до моей души им, конечно, не было никакого дела – лишь бы я уплатил долг да прибавил малую толику за услуги.

Через четыре с половиной часа шар был в достаточной степени наполнен. Я привязал корзину и положил в нее мой багаж: зрительную трубку, высотомер с некоторыми важными усовершенствованиями, термометр, электрометр, компас, циркуль, секундные часы, колоколь-

чик, рупор и прочее, и прочее; кроме того, тщательно закупоренный пробкой стеклянный шар, из которого был выкачан воздух, аппарат для сгущения воздуха, запас негашеной извести, кусок воска и обильный запас воды и съестных припасов, главным образом пеммикана, который содержит много питательных веществ при сравнительно небольшом объеме. Я захватил также пару голубей и кошку,

Рассвет был близок, и я решил, что пора лететь. Уронив, словно нечаянно, сигару, я воспользовался этим предложением и, поднимая ее, зажег кончик фитиля, высовывавшийся, как было описано выше, из-под одной бочки меньшего размера. Этот маневр остался совершенно не замеченным моими кредиторами. Затем я вскочил в корзину, одним махом перерезал веревку, прикреплявшую шар к земле, и с удовольствием убедился, что поднимаюсь с головокружительной быстротой, унося с собою сто семьдесят пять фунтов балласта (а мог бы унести вдвое больше). В минуту взлета высотомер показывал тридцать дюймов, а термометр – 19 °С.

Но едва я поднялся на высоту пятидесяти ярдов, как вдогонку мне взвился с ужаснейшим ревом и свистом такой страшный вихрь огня, песку, горящих обломков, расплавленного металла, растерзанных тел, что сердце мое замерло и я повалился на дно корзины, дрожа от страха. Мне стало ясно, что я переусердствовал и что главные последствия толчка еще впереди. И точно, не прошло секунды, как вся моя кровь хлынула к вискам, и тотчас раздался взрыв, которого я никогда не забуду. Казалось, рушится самый небосвод. Впоследствии, размышляя над этим приключением, я понял, что причиной столь непомерной силы взрыва было положение моего шара как раз на линии сильнейшего действия этого взрыва. Но в ту минуту я думал только о спасении жизни. Сначала шар съехался, потом завертелся с ужасающей быстротой и наконец, крутясь и шатаясь, точно пьяный, выбросил меня из корзины, так что я повис на страшной высоте вниз головой на тонкой бечевке фута в три длиною, случайно проскользнувшей в отверстие близ дна корзины и каким-то чудом обмотавшейся вокруг моей левой ноги. Невозможно, решительно невозможно изобразить ужас моего положения. Я задыхался, дрожь, точно при лихорадке, сотрясала каждый нерв, каждый мускул моего тела, я чувствовал, что глаза мои вылезают из орбит, отвратительная тошнота подступала к горлу – и наконец я лишился чувств.

Долго ли я провисел в таком положении, решительно не знаю. Должно быть, немало времени, ибо, когда я начал приходить в сознание, утро уже наступило, шар несли на чудовищной высоте над безбрежным океаном, и ни признака земли не было видно по всему широкому кругу горизонта. Я, однако, вовсе не испытывал такого отчаяния, как можно было ожидать. В самом деле, было что-то безумное в том спокойствии, с каким я принялся обсуждать свое положение. Я поднес к глазам одну руку, потом другую и удивился, отчего это вены на них налились кровью и ногти так страшно посинели. Затем тщательно исследовал голову, несколько раз потряхнул ею, ощупал очень подробно и наконец убедился, к своему удовольствию, что она отнюдь не больше воздушного шара, как мне сначала представилось. Потом я ощупал карманы брюк и, не найдя в них записной книжки и футлярчика с зубочистками, долго старался объяснить себе, куда они девались, но, не успев в этом, почувствовал невыразимое огорчение. Тут я ощутил крайнюю неловкость в левой лодыжке, и у меня явилось смутное осознание моего положения. Но странное дело – я не был удивлен и не ужаснулся. Напротив, я чувствовал какое-то острое удовольствие при мысли о том, что так ловко выпутаюсь из стоявшей передо мной дилеммы, и ни на секунду не сомневался в том, что не погибну. В течение нескольких минут я предавался глубокому раздумью. Совершенно отчетливо помню, что я поджимал губы, приставлял палец к носу и делал другие жесты и гримасы, как это обычно у людей, когда они, спокойно сидя в своем кресле, размышляют над сложными или сугубо важными вопросами. Наконец, собравшись с мыслями, я очень спокойно и осторожно засунул руки за спину и снял с ремня, стягивавшего мои панталоны, большую железную пряжку. На ней было три зубца, несколько заржавевшие и потому с трудом повертывавшиеся вокруг своей оси. Тем не менее, мне удалось

поставить их под прямым углом к пряжке, и я с удовольствием убедился, что они держатся в этом положении очень прочно. Затем, взяв в зубы пряжку, я постарался развязать галстук, что мне удалось не сразу, но в конце концов удалось. К одному концу галстука я прикрепил пряжку, а другой крепко обвязал вокруг запястья. Затем со страшным усилием качнулся вперед и забросил ее в корзину, где, как я и ожидал, она застряла в петлях плетения.

Теперь мое тело по отношению к краю корзины образовало угол градусов в сорок пять. Но это вовсе не значит, что оно только на сорок пять градусов отклонялось от вертикальной линии. Напротив, я лежал почти горизонтально, так как, переменяв положение, заставил корзину сильно наклониться, и мне по-прежнему угрожала большая опасность. Но если бы, вылетев из корзины, я повис лицом к шару, а не наружу, если бы веревка, за которую я зацепился, перекинулась через край корзины, а не выскользнула в отверстие на дне, мне не удалось бы даже то небольшое, что удалось теперь, и мои открытия были бы утрачены для потомства. Итак, я имел все основания благодарить судьбу. Впрочем, в эту минуту я все еще был слишком ошеломлен, чтобы испытывать какие-либо чувства, и с добрые четверть часа провисел совершенно спокойно, в бессмысленно-радостном настроении. Вскоре, однако, это настроение сменилось ужасом и отчаянием. Я понял всю меру своей беспомощности и близости к гибели. Дело в том, что кровь, застоявшаяся так долго в сосудах головы и гортани и доведшая мой мозг почти до бреда, мало-помалу отхлынула, и прояснившееся сознание, раскрыв передо мною весь ужас положения, в котором я очутился, только лишило меня самообладания и мужества. К счастью, этот припадок слабости не был продолжителен. На помощь мне явилось отчаяние: с яростным криком, судорожно извиваясь и раскачиваясь, я стал метаться, как безумный, пока наконец, уцепившись, точно клещами, за край корзины, не перекинулся через него и, весь дрожа, не свалился на дно.

Лишь спустя некоторое время я опомнился настолько, что мог приняться за осмотр воздушного шара. К моей великой радости, он оказался неповрежденным. Все мои запасы уцелели; я не потерял ни провизии, ни балласта. Впрочем, я уложил их так тщательно, что это и не могло случиться. Часы показывали шесть. Я все еще быстро поднимался; высотомер показывал высоту в три и три четверти мили. Как раз подо мною, на океане, виднелся маленький черный предмет – продолговатый, величиной с косточку домино, да и всем видом напоминавший ее. Направив на него зрительную трубку, я убедился, что это девяносточетырехпушечный, тяжело нагруженный английский корабль – он медленно шел в направлении вест-зюйд-вест. Кроме него, я видел только море, небо и солнце, которое давно уже взошло.

Но пора мне объяснить вашим превосходительствам цель моего путешествия. Ваши превосходительства соизволят припомнить, что расстроенные обстоятельства в конце концов заставили меня прийти к мысли о самоубийстве. Это не значит, однако, что жизнь сама по себе мне опротивела – нет, мне стало только невтерпех мое бедственное положение. В этом состоянии, желая жить и в то же время измученный жизнью, я случайно прочел книжку, которая, в связи с открытием моего нантского родственника, доставила обильную пищу моему воображению. И тут я наконец нашел выход. Я решил исчезнуть с лица земли, оставшись тем не менее в живых; покинуть этот мир, продолжая существовать, – одним словом, я решил во что бы то ни стало добраться до Луны. Чтобы не показаться совсем сумасшедшим, я теперь постараюсь изложить, как умею, соображения, в силу которых считал это предприятие – бесспорно трудное и опасное – все же не совсем безнадежным для человека отважного.

Прежде всего, конечно, возник вопрос о расстоянии Луны от Земли. Известно, что среднее расстояние между центрами этих двух небесных тел равно 59,9643 экваториальных радиусов земного шара, что составляет всего 237 000 миль. Я говорю о среднем расстоянии; но так как орбита Луны представляет собой эллипс, эксцентриситет которого достигает в длину не менее 0,05484 большой полуоси самого эллипса, а Земля расположена в фокусе последнего, – то, если бы мне удалось встретить Луну в перигелии, вышеуказанное расстояние сократилось

бы весьма значительно. Но, даже оставив в стороне эту возможность, достаточно вычесть из этого расстояния радиус Земли, то есть 4000, и радиус Луны, то есть 1080, а всего 5080 миль, и окажется, что средняя длина пути при обыкновенных условиях составит 231 920 миль. Расстояние это не представляет собой ничего чрезвычайного. Путешествия на земле сплошь и рядом совершаются со средней скоростью шестьдесят миль в час, и, без сомнения, есть полная возможность увеличить эту скорость. Но даже если ограничиться ею, то, чтобы достичь Луны, потребуется не более 161 дня. Однако различные соображения заставляли меня думать, что средняя скорость моего путешествия намного превзойдет шестьдесят миль в час, и так как эти соображения оказали глубокое воздействие на мой ум, то я изложу их подробнее.

Прежде всего остановлюсь на следующем весьма важном пункте. Показания приборов при полетах говорят нам, что на высоте 1000 футов над поверхностью Земли мы оставляем под собой около одной тридцатой части всей массы атмосферного воздуха, на высоте 10 600 футов – около трети, а на высоте 18 000 футов, то есть почти на высоте Котопакси, под нами остается половина – по крайней мере, половина весомой массы воздуха, облегающего нашу планету. Вычислено также, что на высоте, не превосходящей одну сотую земного диаметра, то есть не более восьмидесяти миль, атмосфера разрежена до такой степени, что самые чувствительные приборы не могут обнаружить ее присутствия, и жизнь животного организма становится невозможной. Но я знал, что все эти расчеты основаны на опытном изучении свойств воздуха и законов его расширения и сжатия в непосредственном соседстве с землей, причем считается доказанным, что свойства животного организма не могут меняться ни на каком расстоянии от земной поверхности. Между тем выводы, основанные на таких данных, без сомнения проблематичны. Наибольшая высота, на которую когда-либо поднимался человек, достигнута аэронавтами гг. Гей-Люссаком и Био, поднявшимися на 25 000 футов. Высота очень незначительная, даже в сравнении с упомянутыми восьмьюдесятью милями. Стало быть, рассуждал я, тут останется мне немало места для сомнений и полный простор для догадок.

Кроме того, количество весомой атмосферы, которую шар оставляет за собою при подъеме, отнюдь не находится в прямой пропорции к высоте, а (как видно из вышеприведенных данных) в постоянно убывающем *ratio*⁵. Отсюда ясно, что, на какую бы высоту мы ни поднялись, мы никогда не достигнем такой границы, выше которой вовсе не существует атмосферы. Она должна существовать, рассуждал я, хотя, быть может, в состоянии бесконечного разрежения.

С другой стороны, мне было известно, что есть достаточно оснований допускать существование реальной определенной границы атмосферы, выше которой воздуха, безусловно, нет. Но одно обстоятельство, упущенное из виду защитниками этой точки зрения, заставляло меня сомневаться в ее справедливости и во всяком случае считать необходимой серьезную проверку. Если сравнить интервалы между регулярными появлениями кометы Энке в ее перигелии, принимая в расчет возмущающее действие притяжения планет, то окажется, что эти интервалы постепенно уменьшаются, то есть главная ось орбиты становится все короче. Так и должно быть, если допустить существование чрезвычайно разреженной эфирной среды, сквозь которую проходит орбита кометы. Ибо сопротивление подобной среды, замедляя движение кометы, очевидно, должно увеличивать ее центростремительную силу, уменьшая центробежную. Иными словами, действие солнечного притяжения постоянно усиливается, и комета с каждым периодом приближается к Солнцу. Другого объяснения этому изменению орбиты не придумаешь. Кроме того, замечено, что поперечник кометы быстро уменьшается с приближением к Солнцу и столь же быстро принимает прежнюю величину при возвращении кометы в афелий. И разве это кажущееся уменьшение объема кометы нельзя объяснить, вместе с господином Вальцом, сгущением вышеупомянутой эфирной среды, плотность которой увеличи-

⁵ Порядке (*лат.*).

вается по мере приближения к Солнцу? Явление, известное под именем зодиакального света, также заслуживает внимания. Чаще всего оно наблюдается под тропиками и не имеет ничего общего со светом, излучаемым метеорами. Это светлые полосы, тянущиеся от горизонта наискось и вверх, по направлению солнечного экватора. Они, несомненно, имеют связь не только с разреженной атмосферой, простирающейся от Солнца по меньшей мере до орбиты Венеры, а по моему мнению, и гораздо дальше⁶. В самом деле, я не могу допустить, чтобы эта среда ограничивалась орбитой кометы или пространством, непосредственно примыкающим к Солнцу. Напротив, гораздо легче предположить, что она наполняет всю нашу планетную систему, сгущаясь поблизости от планет и образуя то, что мы называем атмосферными оболочками, которые, быть может, также изменялись под влиянием геологических факторов, то есть смешивались с испарениями, выделявшимися той или другой планетой.

Остановившись на этой точке зрения, я больше не стал колебаться. Предполагая, что всюду на своем пути найду атмосферу, в основных чертах сходную с земной, я надеялся, что мне удастся с помощью остроумного аппарата господина Гримма сгустить ее в достаточной степени, чтобы дышать. Таким образом, главное препятствие для полета на Луну устранялось. Я затратил немало труда и изрядную сумму денег на покупку и усовершенствование аппарата и не сомневался, что он успешно выполнит свое назначение, лишь бы путешествие не затянулось. Это соображение заставляет меня вернуться к вопросу о возможной скорости такого путешествия.

Известно, что воздушные шары в первые минуты взлета поднимаются сравнительно медленно. Быстрота подъема всецело зависит от разницы между плотностью атмосферного воздуха и газа, наполняющего шар. Если принять в расчет это обстоятельство, то покажется совершенно невероятным, чтобы скорость восхождения могла увеличиться в верхних слоях атмосферы, плотность которых быстро уменьшается. С другой стороны, я не знаю ни одного отчета о воздушном путешествии, в котором бы сообщалось об уменьшении скорости по мере подъема; а между тем она, несомненно, должна бы была уменьшаться – хотя бы вследствие просачивания газа сквозь оболочку шара, покрытую обыкновенным лаком, – не говоря о других причинах. Одна эта потеря газа должна бы тормозить ускорение, возникающее в результате удаления шара от центра земли. Имея в виду все эти обстоятельства, я полагал, что если только найду на моем пути среду, о которой упоминал выше, и если эта среда в основных своих свойствах будет представлять собой то самое, что мы называем атмосферным воздухом, то степень ее разрежения не окажет особого влияния – то есть не отразится на быстроте моего взлета – так как по мере разрежения среды станет соответственно разрежаться и газ внутри шара (для предотвращения разрыва оболочки я могу выпускать его по мере надобности с помощью клапана); в то же время, оставаясь тем, чем он есть, газ всегда окажется относительно легче, чем какая бы то ни была смесь азота с кислородом. Таким образом, я имел основание надеяться – даже, собственно говоря, быть почти уверенным, – что ни в какой момент моего взлета мне не придется достигнуть пункта, в котором вес моего огромного шара, заключенного в нем газа, корзины и ее содержимого превзойдет вес вытесняемого ими воздуха. А только это последнее обстоятельство могло бы остановить мое восхождение. Но если даже я и достигну такого пункта, то могу выбросить около трехсот фунтов балласта и других материалов. Тем временем сила тяготения будет непрерывно уменьшаться пропорционально квадратам расстояний, а скорость полета увеличиваться в чудовищной прогрессии, так что в конце концов я попаду в сферу, где земное притяжение уступит место притяжению Луны.

Еще одно обстоятельство несколько смущало меня. Замечено, что при подъеме воздушного шара на значительную высоту воздухоплаватель испытывает, помимо затрудненного

⁶ Этот зодиакальный свет, по всей вероятности, то же самое, что древние называли «огненными столбами»: *Emicant Trabes quos docos vocant*. См.: Плиний, II, 26.

дыхания, ряд болезненных ощущений, сопровождающихся кровотечением из носа и другими тревожными признаками, которые усиливаются по мере подъема⁷. Это обстоятельство навело на размышления весьма неприятного свойства. Что, если эти болезненные явления будут все усиливаться и окончатся смертью? Однако я решил, что этого вряд ли следует опасаться. Ведь их причина заключается в постепенном уменьшении обычного атмосферного давления на поверхность тела и в соответственном расширении поверхностных кровяных сосудов, а не в расстройстве органической системы, как при затрудненном дыхании, вызванном тем, что разреженный воздух по своему химическому составу недостаточен для обновления крови в желудочках сердца. Оставив в стороне это недостаточное обновление крови, я не вижу, почему бы жизнь не могла продолжаться даже в вакууме, так как расширение и сжатие груди, называемое обычно дыханием, есть чисто мышечное явление и вовсе не следствие, а причина дыхания. Словом, я рассудил, что когда тело привыкнет к недостаточному атмосферному давлению, болезненные ощущения постепенно уменьшатся, а я пока что уж как-нибудь перетерплю, здоровье у меня железное.

Таким образом, я, с позволения ваших превосходительств, подробно изложил некоторые – хотя далеко не все – соображения, которые легли в основу моего плана путешествия на Луну. А теперь возвращусь к описанию результатов моей попытки – с виду столь безрассудной и, во всяком случае, единственной в летописях человечества.

Достигнув уже упомянутой высоты в три и три четверти мили, я выбросил из корзины горсть перьев и убедился, что шар мой продолжает подниматься с достаточной быстротой и, следовательно, пока нет надобности выбрасывать балласт. Я был очень доволен этим обстоятельством, так как хотел сохранить как можно больше тяжести, не зная наверняка, какова степень притяжения Луны и плотность лунной атмосферы. Пока я не испытывал никаких болезненных ощущений, дышал вполне свободно и не чувствовал ни малейшей головной боли. Кошка расположилась на моем пальто, которое я снял, и с напускным равнодушием поглядывала на голубей. Голуби, которых я привязал за ноги, чтобы они не улетели, деловито клевали зерна риса, насыпанные на дно корзины. В двадцать минут седьмого высотомер показал высоту в 26 400 футов, то есть пять с лишним миль. Простор, открывавшийся подо мною, казался безграничным. На самом деле, с помощью сферической тригонометрии нетрудно вычислить, какую часть земной поверхности я мог охватить взглядом. Ведь выпуклая поверхность сегмента шара относится ко всей его поверхности, как обращенный синус сегмента к диаметру шара. В данном случае обращенный синус – то есть, иными словами, толщина сегмента, находившегося подо мною, почти равнялась расстоянию, на котором я находился от земли, или высоте пункта наблюдения; следовательно, часть земной поверхности, доступная моему зрению, выражалась отношением пяти миль к восьми тысячам. Иными словами, я видел одну тысячестисотую часть всей земной поверхности. Море казалось гладким, как зеркало, хотя в зрительную трубку я мог убедиться, что волнение на нем очень сильное. Корабль давно исчез в восточном направлении. Теперь я по временам испытывал жестокую головную боль, в особенности за ушами, хотя дышал довольно свободно. Кошка и голуби чувствовали себя, по-видимому, как нельзя лучше.

Без двадцати минут семь мой шар попал в слой густых облаков, которые причинили мне немало неприятностей, повредив сгущающий аппарат и промолив меня до костей. Это была, без сомнения, весьма странная встреча: я никак не ожидал, что подобные облака могут быть на такой огромной высоте. Все же я счел за лучшее выбросить два пятифунтовых мешка с балластом, оставив про запас сто шестьдесят пять фунтов. После этого я быстро выбрался

⁷ После опубликования отчета Ганса Пфаала я узнал, что известный аэронавт мистер Грин и другие позднейшие воздухоплаватели опровергают мнение Гумбольдта об этом предмете и говорят об уменьшении болезненных явлений – вполне согласно с изложенной здесь теорией.

из облаков и убедился, что скорость подъема значительно возросла. Спустя несколько секунд после того, как я оставил под собой облако, молния прорезала его с одного конца до другого, и все оно вспыхнуло, точно груды раскаленного угля. Напомню, что это происходило при ясном дневном свете. Никакая фантазия не в силах представить себе великолепие подобного явления; случись оно ночью, оно было бы точной картиной ада. Даже теперь волосы поднялись дыбом на моей голове, когда я смотрел в глубь этих зияющих бездн и мое воображение блуждало среди огненных зал с причудливыми сводами, развалин и пропастей, озаренных багровым, нездешним светом. Я едва избежал опасности. Если бы шар помедлил еще немного внутри облака – иными словами, если бы сырость не заставила меня выбросить два мешка с балластом – последствием могла быть – и была бы, по всей вероятности, – моя гибель. Такие случайности для воздушного шара, может быть, опаснее всего, хотя их обычно не принимают в расчет. Тем временем я оказался уже на достаточной высоте, чтобы считать себя застрахованным от дальнейших приключений в том же роде.

Я продолжал быстро подниматься, и к семи часам высотомер показал высоту не менее девяти с половиной миль. Мне уже становилось трудно дышать, голова мучительно болела, с некоторых пор я чувствовал какую-то влагу на щеках и вскоре убедился, что из ушей у меня течет кровь. Глаза тоже болели: когда я провел по ним рукой, мне показалось, что они вылезли из орбит; все предметы в корзине и самый шар приняли уродливые очертания. Эти болезненные симптомы оказались сильнее, чем я ожидал, и не на шутку встревожили меня. Расстроенный, хорошенько не отдавая себе отчета в том, что делаю, я совершил нечто в высшей степени неблагоприятное: выбросил из корзины три пятифунтовых мешка с балластом. Шар рванулся и перенес меня сразу в столь разреженный слой атмосферы, что результат едва не оказался роковым для меня и моего предприятия. Я внезапно почувствовал припадок удушья, продолжавшийся не менее пяти минут; даже когда он прекратился, я не мог вздохнуть как следует. Кровь струилась у меня из носа, из ушей и даже из глаз. Голуби отчаянно бились, стараясь вырваться на волю; кошка жалобно мяукала и, высунув язык, металась туда и сюда, точно проглотила отраву. Слишком поздно поняв свою ошибку, я пришел в отчаяние. Я ожидал неминуемой и близкой смерти. Физические страдания почти лишили меня способности предпринять что-либо для спасения своей жизни, мозг почти отказывался работать, а головная боль усиливалась с каждой минутой. Чувствуя близость обморока, я хотел было дернуть веревку, соединенную с клапаном, чтобы спуститься на землю, – как вдруг вспомнил о том, что я проделал с кредиторами, и о вероятных последствиях, ожидающих меня в случае возвращения на Землю. Это воспоминание остановило меня. Я лег на дно корзины и постарался собраться с мыслями. Это удалось мне настолько, что я решил пустить себе кровь. За неимением ланцета я произвел эту операцию, открыв вену на левой руке с помощью перочинного ножа. Как только потекла кровь, я почувствовал большое облегчение, а когда вышло с полчашки, худшие из болезненных симптомов совершенно исчезли. Все же я не решился встать и, кое-как забинтовав руку, пролежал еще с четверть часа. Наконец я поднялся; оказалось, что все болезненные ощущения, преследовавшие меня в течение последнего часа, исчезли. Только дыхание было по-прежнему затруднено, и я понял, что вскоре придется прибегнуть к конденсатору. Случайно взглянув на кошку, которая снова улеглась на пальто, я увидел, к своему крайнему изумлению, что во время моего припадка она разрешилась тремя котятами. Этого прибавления пассажиров я отнюдь не ожидал, но был им очень доволен: оно давало мне возможность проверить гипотезу, которая более чем что-либо другое повлияла на мое решение. Я объяснял болезненные явления, испытываемые воздухоплавателем на известной высоте, привычкой к определенному давлению атмосферы около земной поверхности. Если котята будут страдать в такой же степени, как мать, то моя теория, видимо, ошибочна, если же нет – она вполне подтвердится.

К восьми часам я достиг семнадцати миль над поверхностью земли. Очевидно, скорость подъема возрастала, и если бы даже я не выбросил балласта, то заметил бы это ускорение, хотя,

конечно, оно не совершилось бы так быстро. Жестокая боль в голове и ушах по временам возвращалась; иногда текла из носа кровь; но, в общем, страдания мои были гораздо незначительнее, чем я ожидал. Только дышать становилось все труднее, и каждый вздох сопровождался мучительными спазмами в груди. Я распаковал аппарат для конденсации воздуха и принялся налаживать его.

С этой высоты на землю открывался великолепный вид. К западу, к северу и к югу, насколько мог охватить глаз, расстилалась бесконечная гладь океана, приобретающая с каждой минутой все более яркий голубой оттенок. Вдали, на востоке, вырисовывалась Великобритания, все Атлантическое побережье Франции и Испании и часть северной окраины африканского материка. Подробностей, разумеется, не было видно, и самые пышные города точно исчезли с лица земли.

Больше всего удивила меня кажущаяся вогнутость земной поверхности. Я, напротив, ожидал, что по мере подъема она будет представлять мне все более выпуклой; но, подумав немного, сообразил, что этого не могло быть. Перпендикуляр, опущенный из пункта моего наблюдения к земной поверхности, представлял бы собой один из катетов прямоугольного треугольника, основание которого простиралось до горизонта, а гипотенуза – от горизонта к моему шару. Но высота, на которой я находился, была ничтожна сравнительно с пространством, которое я мог обозреть. Иными словами, основание и гипотенуза упомянутого треугольника были бы так велики сравнительно с высотой, что могли бы считаться почти параллельными линиями. Поэтому горизонт для аэронавта остается всегда на одном уровне с корзиной. Но точка, находящаяся под ним внизу, кажется отстоящей и действительно отстоит на огромное расстояние – следовательно, ниже горизонта. Отсюда – впечатление вогнутости, которое и останется до тех пор, пока высота не достигнет такого отношения к диаметру видимого пространства, при котором кажущаяся параллельность основания и гипотенузы исчезнет.

Так как голуби все время жестоко страдали, я решил выпустить их. Сначала я отвязал одного – серого крапчатого красавца – и посадил на обруч сетки. Он очень забеспокоился, жалобно поглядывал кругом, хлопал крыльями, ворковал, но не решался вылететь из корзины. Тогда я взял его и отбросил ярдов на пять-шесть от шара. Однако он не полетел вниз, как я ожидал, а изо всех сил устремился обратно к шару, издавая резкие, пронзительные крики. Наконец ему удалось вернуться на старое место, но, едва усевшись на обруч, он уронил головку на грудь и упал мертвым в корзину. Другой был счастливее. Чтобы предупредить его возвращение, я изо всех сил швырнул его вниз и с радостью увидел, что он продолжает спускаться, быстро, легко и свободно взмахивая крыльями. Вскоре он исчез из вида и, не сомневаюсь, благополучно добрался до земли. Кошка, по-видимому, оправившаяся от своего припадка, с аппетитом съела мертвого голубя и улеглась спать. Котята были живы и не обнаруживали пока ни малейших признаков заболевания.

В четверть девятого, испытывая почти невыносимые страдания при каждом затрудненном вздохе, я стал прилаживать к корзине аппарат, составлявший часть конденсатора. Он требует, однако, более подробного описания. Ваши превосходительства благоволят заметить, что целью моею было защитить себя и корзину как бы барьером от разреженного воздуха, который теперь окружал меня, с тем чтобы ввести внутрь корзины нужный для дыхания конденсированный воздух. С этой целью я заготовил плотную, совершенно непроницаемую, но достаточно эластичную каучуковую камеру в виде мешка. В этот мешок поместилась вся моя корзина, то есть он охватывал ее дно и края до верхнего обруча, к которому была прикреплена сетка. Оставалось только стянуть края наверху, над обручем, то есть просунуть эти края между обручем и сеткой. Но если отделить сетку от обруча, чтобы пропустить края мешка, – на чем будет держаться корзина? Я разрешил это затруднение следующим образом: сетка не была наглухо соединена с обручем, а прикреплена посредством петель. Я снял несколько петель, предоставив корзине держаться на остальных, просунул край мешка над обручем и снова пристегнул

петли, – не к обручу, разумеется, оттого что он находился под мешком, а к пуговицам на мешке, соответствовавшим петлям и пришитым футу на три ниже края; затем отстегнул еще несколько петель, просунул еще часть мешка и снова пристегнул петли к пуговицам. Таким образом, мне мало-помалу удалось пропустить весь верхний край мешка между обручем и сеткой. Понятно, что обруч опустился в корзину, которая со всем содержимым держалась теперь только на пуговицах. На первый взгляд это грозило опасностью – но лишь на первый взгляд: пуговицы были не только очень прочны сами по себе, но и посажены так тесно, что на каждую приходилась лишь незначительная часть всей тяжести. Если бы корзина с ее содержимым была даже вдвое тяжелее, меня это ничуть бы не беспокоило. Я снова приподнял обруч и прикрепил его почти на прежней высоте с помощью трех заранее приготовленных перекладин. Это я сделал для того, чтобы мешок оставался наверху растянутым и нижняя часть сетки не изменила своего положения. Теперь оставалось только закрыть мешок, что я и сделал без труда, собрав складками его верхний край и стянув их туго-натуго при помощи устойчивого вертлюга.

В боковых стенках мешка были сделаны три круглые окошка с толстыми, но прозрачными стеклами, сквозь которые я мог смотреть во все стороны по горизонтали. Такое же окошко находилось внизу и соответствовало небольшому отверстию в дне корзины: сквозь него я мог смотреть вниз. Но вверху нельзя было устроить такое окно, ибо верхний, стянутый, край мешка был собран складками. Впрочем, в этом окне и надобности не было, так как шар все заслонил бы собою.

Под одним из боковых окошек, примерно на расстоянии фута, имелось отверстие дюйма в три диаметром; а в отверстие было вставлено медное кольцо с винтовыми нарезками на внутренней поверхности. В это кольцо ввинчивалась трубка конденсатора, помещавшегося, само собою разумеется, внутри каучуковой камеры. Через эту трубку разреженный воздух втягивался с помощью вакуума, образовавшегося в аппарате, сгущался и проходил в камеру. Повторив эту операцию несколько раз, можно было наполнить камеру воздухом, вполне пригодным для дыхания. Но в столь тесном помещении воздух, разумеется, должен был быстро портиться вследствие частого соприкосновения с легкими и становиться непригодным для дыхания. Тогда его можно было выбрасывать посредством небольшого клапана на дне мешка; будучи более тяжелым, этот воздух быстро опускался вниз, рассеиваясь в более легкой наружной атмосфере. Из опасения создать полный вакуум в камере при выпуске воздуха, очистка последнего никогда не производилась сразу, а лишь постепенно. Клапан открывался секунды на две – на три, потом замыкался, и так – несколько раз, пока конденсатор не заменял вытесненный воздух запасом нового. Ради опыта я положил кошку и котят в корзиночку, которую подвесил снаружи к пуговице, находящейся подле клапана; открывая клапан, я мог кормить кошек по мере надобности. Я сделал это раньше, чем затянул камеру, с помощью одного из упомянутых выше шестов, поддерживавших обруч. Как только камера наполнилась сконденсированным воздухом, шесты и обруч оказались излишними, ибо, расширяясь, внутренняя атмосфера и без них растягивала каучуковый мешок.

Когда я приладил все эти приборы и наполнил камеру, было всего без десяти минут девять. Все это время я жестоко страдал от недостатка воздуха и горько упрекал себя за небрежность или, скорее, за безрассудную смелость, побудившую меня отложить до последней минуты столь важное дело. Но, когда наконец все было готово, я тотчас почувствовал благотворные последствия своего изобретения. Я снова дышал легко и свободно – да и почему бы мне не дышать? К моему удовольствию и удивлению, жестокие страдания, терзавшие меня до сих пор, почти совершенно исчезли. Осталось только ощущение какой-то раздутости или растяжения в запястьях, лодыжках и гортани. Очевидно, мучительные ощущения, вызванные недостаточным атмосферным давлением, давно прекратились, а болезненное состояние, которое я испытывал в течение последних двух часов, происходило только вследствие затрудненного дыхания.

Без двадцати девять, то есть незадолго до того, как я затянул отверстие мешка, ртуть опустилась до нижнего уровня в высотомере. Я находился на высоте 132 000 футов, то есть двадцати пяти миль, и, следовательно, мог обозревать не менее одной триста двадцатой всей земной поверхности. В девять часов я снова потерял из виду землю на востоке, заметив при этом, что шар быстро несется в направлении норд-норд-вест. Расстилавшийся подо мною океан все еще казался вогнутым; впрочем, облака часто скрывали его от меня.

В половине десятого я снова выбросил из корзины горсть перьев. Они не полетели, как я ожидал, но упали, как пуля, – всей кучей, с невероятной быстротой, – и в несколько секунд исчезли из виду. Сначала я не мог объяснить себе это странное явление; мне казалось невероятным, чтобы быстрота подъема так страшно возросла. Но вскоре я сообразил, что разреженная атмосфера уже не могла поддерживать перья – они действительно упали с огромной быстротой; и поразившее меня явление обусловлено было сочетанием скорости падения перьев со скоростью подъема моего шара.

Часам к десяти мне уже нечего было особенно наблюдать. Все шло исправно; быстрота подъема, как мне казалось, постоянно возрастала, хотя я не мог определить степень этого возрастания. Я не испытывал никаких болезненных ощущений, а настроение духа было бодрее, чем когда-либо после моего вылета из Роттердама! Я коротал время, осматривая инструменты и обновляя воздух в камере. Я решил повторять это через каждые сорок минут – скорее для того, чтобы предохранить свой организм от возможных нарушений его деятельности, чем по действительной необходимости. В то же время я невольно уносился мыслями вперед. Воображение мое блуждало в диких, сказочных областях Луны, необузданная фантазия рисовала мне обманчивые чудеса этого призрачного и неустойчивого мира. То мне мерещились дремучие вековые леса, крутые утесы, шумные водопады, низвергавшиеся в бездонные пропасти. То я переносился в пустынные просторы, залитые лучами полуденного солнца, куда ветерок не залетал от века, где воздух точно окаменел и всюду, куда хватает глаз, расстилаются луговины, поросшие маком и стройными лилиями, безмолвными, словно оцепеневшими. То вдруг являлось передо мною озеро, темное, неясное, сливавшееся вдаль с грядями облаков. Но не только эти картины рисовались моему воображению. Мне рисовались ужасы, один другого грознее и причудливее, и даже мысль об их возможности потрясала меня до глубины души. Впрочем, я старался не думать о них, справедливо полагая, что действительные и осязаемые опасности моего предприятия должны поглотить все мое внимание.

В пять часов пополудни, обновляя воздух в камере, я заглянул в корзину с кошками. Мать, по-видимому, жестоко страдала, несомненно, вследствие затрудненного дыхания; но котята изумили меня. Я ожидал, что они тоже будут страдать, хотя и в меньшей степени, чем кошка, что подтвердило бы мою теорию насчет нашей привычки к известному атмосферному давлению. Оказалось, однако, – чего я вовсе не ожидал, – что они совершенно здоровы, дышат легко и свободно и не обнаруживают ни малейших признаков какого-либо органического расстройства. Я могу объяснить это явление, только расширив мою теорию и предположив, что крайне разреженная атмосфера не представляет (как я вначале думал) со стороны ее химического состава никакого препятствия для жизни и существо, родившееся в такой среде, будет дышать в ней без всякого труда, а попав в более плотные слои по соседству с Землей, испытает те же мучения, которым я подвергался так недавно. Очень сожалею, что вследствие несчастной случайности я потерял эту кошачью семейку и не мог продолжать свои опыты. Просунув чашку с водой для старой кошки в отверстие мешка, я зацепил рукавом за шнурок, на котором висела корзинка, и сдернул его с пуговицы. Если бы корзинка с кошками каким-нибудь чудом испарилась в воздухе – она не могла бы исчезнуть с моих глаз быстрее, чем сейчас. Не прошло положительно и десятой доли секунды, как она уже скрылась со всеми своими пассажирами. Я пожелал им счастливого пути, но, разумеется, не питал никакой надежды, что кошка или котята останутся в живых, дабы рассказать о своих бедствиях.

В шесть часов значительная часть Земли на востоке покрылась густой тенью, которая быстро надвигалась, так что в семь без пяти минут вся видимая поверхность Земли погрузилась в ночную тьму. Но долго еще после этого лучи заходящего солнца освещали мой шар; и это обстоятельство, которое, конечно, можно было предвидеть заранее, доставляло мне большую радость. Значит, я и утром увижу восходящее светило гораздо раньше, чем добрые граждане Роттердама, несмотря на более восточное положение этого города, и, таким образом, буду пользоваться все более и более продолжительным днем соответственно с высотой, которой буду достигать. Я решил вести дневник моего путешествия, отмечая дни через каждые двадцать четыре часа и не принимая в расчет ночей.

В десять часов меня стало клонить ко сну, и я решил было улечься, но меня остановило одно обстоятельство, о котором я совершенно забыл, хотя должен был предвидеть его заранее. Если я засну, кто же будет накачивать воздух в камеру? Дышать в ней можно было самое большее час; если продлить этот срок даже на четверть часа, последствия могли быть самые гибельные. Затруднение это очень смутило меня, и хотя мне едва ли поверят, но, несмотря на преодоление стольких опасностей, я готов был отчаяться перед новым, потерял всякую надежду на исполнение моего плана и уже подумывал о спуске. Впрочем, то было лишь минутное колебание. Я рассудил, что человек – верный раб привычек и многие мелочи повседневной жизни только кажутся ему существенно важными, а на самом деле они сделались такими единственно в результате привычки. Конечно, я не мог обойтись без сна, но что мешало мне приучить себя просыпаться через каждый час в течение всей ночи? Для полного обновления воздуха достаточно было пяти минут. Меня затруднял только способ, каким я буду будить себя в надлежащее время. Правду сказать, я долго ломал себе голову над разрешением этого вопроса. Я слышал, что студенты прибегают к такому приему: взяв в руку медную пулю, держат ее над медным тазиком; и, если студенту случится задремать над книгой, пуля падает и ее звон о тазик будит его. Но для меня подобный способ вовсе не годился, так как я не намерен был бодрствовать все время, а хотел лишь просыпаться через определенные промежутки времени. Наконец я придумал приспособление, которое при всей своей простоте показалось мне в первую минуту открытием не менее блестящим, чем изобретение телескопа, паровой машины или даже книгопечатания.

Необходимо заметить, что на той высоте, которой я достиг в настоящее время, шар продолжал подниматься без толчков и отклонений, совершенно равномерно, так что корзина не испытывала ни малейшей тряски. Это обстоятельство явилось как нельзя более кстати для моего изобретения. Мой запас воды помещался в бочонках, по пяти галлонов каждый, они были выстроены вдоль стенки корзины. Я отвязал один бочонок и, достав две веревки, натянул их поперек корзины вверху, на расстоянии фута одну от другой, так что они образовали нечто вроде полки. На эту полку я взгромоздил бочонок, положив его горизонтально. Под бочонком, на расстоянии восьми дюймов от веревок и четырех футов от дна корзины, прикрепил другую полку, употребив для этого тонкую дощечку, единственную, имевшуюся у меня в запасе. На дощечку поставил небольшой глиняный кувшинчик. Затем провертел дырку в стенке бочонка над кувшином и заткнул ее втулкой из мягкого дерева. Вдвигая и выдвигая втулку, я наконец установил ее так, чтобы вода, просачиваясь сквозь отверстие, наполняла кувшинчик до краев за шестьдесят минут. Рассчитать это было нетрудно, проследив, какая часть кувшина наполняется в известный промежуток времени. Остальное понятно само собою. Я устроил себе постель на дне корзины так, чтобы голова приходилась под носиком кувшина. Ясно, что по истечении часа вода, наполнив кувшин, должна была выливаться из носика, находившегося несколько ниже его краев. Ясно также, что, орошая лицо мое с высоты четырех футов, вода должна была разбудить меня, хотя бы я заснул мертвым сном.

Было уже одиннадцать часов, когда я покончил с устройством этого будильника. Затем я немедленно улегся спать, вполне положившись на мое изобретение. И мне не пришлось разо-

чароваться в нем. Точно через каждые шестьдесят минут я вставал, разбуженный моим верным хронометром, выливал из кувшина воду обратно в бочонок и, обновив воздух с помощью конденсатора, снова укладывался спать. Эти регулярные перерывы в сне беспокоили меня даже меньше, чем я ожидал. Когда я встал утром, было уже семь часов, и солнце поднялось на несколько градусов над линией горизонта.

3 апреля. Я убедился, что мой шар находится на огромной высоте, так как выпуклость земли была теперь ясно видна. Подо мной, в океане, можно было различить скопление каких-то темных пятен – без сомнения, острова. Небо над головой казалось агатово-черным, звезды блистали; они стали видны с первого же дня моего полета. Далеко по направлению к северу я заметил тонкую белую, ярко блестящую линию, или полосу, на краю неба, в которой не колеблясь признал южную окраину полярных льдов. Мое любопытство было сильно возбуждено, так как я рассчитывал, что буду лететь гораздо дальше к северу и, может быть, окажусь над самым полюсом. Я пожалел, что огромная высота, на которой я находился, не позволит мне осмотреть его как следует. Но все-таки я мог заметить многое.

В течение дня не случилось ничего особенного. Все мои приборы действовали исправно, и шар поднимался без всяких толчков. Сильный холод заставил меня плотнее закутаться в пальто. Когда земля оделась ночным мраком, я улегся спать, хотя еще много часов спустя вокруг моего шара стоял белый день. Водяные часы добросовестно исполняли свою обязанность, и я спокойно проспал до утра, пробуждаясь лишь для того, чтобы обновить воздух.

4 апреля. Встал здоровым и бодрым и был поражен тем, как странно изменился вид океана. Он утратил свою темно-голубую окраску и казался серовато-белым, притом он ослепительно блистал. Выпуклость океана была видна так четко, что громада воды, находившейся подо мною, точно низвергалась в пучину по краям неба, и я невольно прислушивался, стараясь расслышать грохот этих мощных водопадов. Островов не было видно, потому ли, что они исчезли за горизонтом в юго-восточном направлении, или все растущая высота уже лишала меня возможности видеть их. Последнее предположение казалось мне, однако, более вероятным. Полоса льдов на севере выступала все яснее. Холод не усиливался. Ничего особенного не случилось, и я провел день за чтением книг, которые захватил с собою.

5 апреля. Отмечаю любопытный феномен: солнце взошло, однако вся видимая поверхность Земли все еще была погружена в темноту. Но мало-помалу она осветилась, и снова показалась на севере полоса льдов. Теперь она выступала очень ясно и казалась гораздо темнее, чем воды океана. Я, очевидно, приближался к ней, и очень быстро. Мне казалось, что я различаю землю на востоке и на западе, но я не был в этом уверен. Температура умеренная. В течение дня не случилось ничего особенного. Рано лег спать.

6 апреля. Был удивлен, увидев полосу льда на очень близком расстоянии, а также бесконечное ледяное поле, простиравшееся к северу. Если шар сохранит то же направление, то я скоро окажусь над Ледовитым океаном и, несомненно, увижу полюс. В течение дня я неуклонно приближался ко льдам. К ночи пределы моего горизонта неожиданно и значительно расширились, без сомнения потому, что Земля имеет форму сплюснутого сфероиды, и я находился теперь над плоскими областями вблизи Полярного круга. Когда наступила ночь, я лег спать, охваченный тревогой, ибо опасался, что предмет моего любопытства, скрытый ночной темнотой, ускользнет от моих наблюдений.

7 апреля. Встал рано и, к своей великой радости, действительно увидел Северный полюс. Не было никакого сомнения, что это именно полюс и он находится прямо подо мною. Но, увы! Я поднялся на такую высоту, что ничего не мог рассмотреть в подробностях. В самом деле, если составить прогрессию моего восхождения на основании чисел, указывавших высоту шара в различные моменты между шестью утра 2 апреля и девятью без двадцати минут утра того же дня (когда высотомер перестал действовать), то теперь, в четыре утра седьмого апреля, шар должен был находиться на высоте не менее 7254 миль над поверхностью океана. (С пер-

вого взгляда эта цифра может показаться грандиозной, но, по всей вероятности, она была гораздо ниже действительной.) Во всяком случае, я видел всю площадь, соответствовавшую большому диаметру Земли; все северное полушарие лежало подо мною наподобие карты в ортографической проекции, и линия экватора образовывала линию моего горизонта. Итак, ваши превосходительства без труда поймут, что лежавшие подо мною неизведанные области в пределах Полярного круга находились на столь громадном расстоянии и в столь уменьшенном виде, что рассмотреть их подробно было невозможно. Все же мне удалось увидеть кое-что замечательное. К северу от упомянутой линии, которую можно считать крайней границей человеческих открытий в этих областях, расстиралось сплошное, или почти сплошное, поле. Поверхность его, будучи вначале плоской, мало-помалу понижалась, принимая заметно вогнутую форму, и завершалась у самого полюса круглой, резко очерченной впадиной. Последняя казалась гораздо темнее остального полушария и была местами совершенно черного цвета. Диаметр впадины соответствовал углу зрения в шестьдесят пять секунд. Больше ничего нельзя было рассмотреть. К двенадцати часам впадина значительно уменьшилась, а в семь пополудни я потерял ее из вида: шар миновал западную окраину льдов и несся по направлению к экватору.

8 апреля. Видимый диаметр Земли заметно уменьшился, окраска совершенно изменилась. Вся доступная наблюдению площадь казалась бледно-желтого цвета различных оттенков, местами блестела так, что больно было смотреть. Кроме того, мне сильно мешала насыщенная испарениями плотная земная атмосфера; я лишь изредка видел самую Землю в просветах между облаками. В течение последних сорока восьми часов эта помеха давала себя чувствовать в более или менее сильной степени, а при той высоте, которой теперь достиг шар, груды облаков сблизилась в поле зрения еще теснее, и наблюдать Землю становилось все затруднительнее. Тем не менее я убедился, что шар летит над областью Великих озер в Северной Америке, стремясь к югу, и я скоро достигну тропиков. Это обстоятельство весьма обрадовало меня, так как сулило успех моему предприятию. В самом деле, направление, в котором я несся до сих пор, крайне тревожило меня, так как, продолжая двигаться в том же направлении, я бы вовсе не попал на Луну, орбита которой наклонена к эклиптике под небольшим углом в $5^{\circ}8'48''$. Странно, что я так поздно уразумел свою ошибку: мне следовало подняться из какого-нибудь пункта в плоскости лунного эллипса.

9 апреля. Сегодня диаметр Земли значительно уменьшился, окраска ее приняла более яркий желтый оттенок. Мой шар держал курс на юг, и в девять утра он достиг северной окраины Мексиканского залива.

10 апреля. Около пяти часов утра меня разбудил оглушительный треск, который я решительно не мог себе объяснить. Он продолжался всего несколько мгновений и не походил ни на один из слышанных мною доселе звуков. Нечего и говорить, что я страшно перепугался; в первую минуту мне почудилось, что шар лопнул. Я осмотрел свои приборы, однако все они оказались в порядке. Большую часть дня я провел в размышлениях об этом странном треске, но не мог никак его объяснить. Лег спать крайне обеспокоенный и взволнованный.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.